
LUX
LIBERTAS

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Редакция журнала „Исторический архив“

М. А. Бакунин

ИСПОВЕДЬ

и

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ II

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

„Михаил Бакунин в эпоху сороковых-шестидесятых годов“

ВЯЧ. ПОЛОНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1921

Гиз. № 819. (Р. В. Ц., Москва). 5.000 экз.

20-я Государственная типография (бывш. Кушнерева). Пименовская ул.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Исповедь Бакунина и его прошение Александру II найдены в архиве III отделения „собственной е. и. в. канцелярии“, в деле „об отставном прапорщике Михаиле Бакунине“. Дело это состоит из 5 частей: ч. I—„О революционных действиях его за границей“; ч. II—„О передаче его австрийским правительством в наши пределы и заключении в крепость“; ч. III—„Об освобождении его из крепости и об отправлении в Сибирь на поселение“; ч. IV—„О побеге его из Сибири за границу“; ч. V—„Копии с бумаг по делу Бакунина“. Всего сто пятьдесят один перенумерованный полулист. Кроме того, к делу присоединен был „особо запечатанный пакет“, заключавший переписанный для Николая I экземпляр „Исповеди“ Бакунина с пометками Николая.

Орфография рукописей Бакунина в характерных своих особенностях сохранена. Пометки Николая I приводятся с указанного выше, специально для него переписанного, по распоряжению гр. Орлова, экземпляра.

В „Исповеди“, как и в прошении, все обращение к царю, титул его и пр. написаны большими буквами. В напечатанном выше прошении это правописание сохранено; в „Исповеди“, дабы не пестрить набор, эта особенность не соблюдена.

Работу по сличению напечатанного экземпляра с подлинником, хранящимся в архиве, произвел Э. Л. Гуревич (Е. Смирнов).

Михаил Бакунин

в эпоху сороковых—шестидесятых годов.

„Портрет этот не кончен, как сам я не кончен".

Надпись, сделанная М. Бакуниным на своем портрете в 1838 г.

I.

„Исповедь" и печатаемое вслед за нею письмо Бакунина к Александру II принадлежат к числу самых потрясающих документов, какие знаем мы о революционерах. Содержание их ошеломляет. Верноподданнический тон, унизительное смирение, грубоватая, но нередко тонкая лесть вызывают изумление. Самобичевания же автора, расправа, которую производит он со своей деятельностью, осуждение, которое выносит он своему мировоззрению, бросают новый и неожиданный свет на его духовный облик.

В последнем смысле „Исповедь" совершает переворот в трактовке этого облика. И какою бы горечью в сердцах почитателей Бакунина ни отозвалось ее обнародование,—она должна быть предана гласности, изучена досконально, чтобы потомству стала ясной мятежная и противоречивая душа большого человека, который оказался способным не только на великий бунт, но и на великое падение.

Нас не интересует сейчас моральная оценка „Исповеди". Мы считаем ее драгоценным источником, раскрывающим неизвестную дотоле картину душевной жизни Бакунина за период, нам в деталях мало известный. Годы заграничного пребывания „апостола анархии"—начиная с появления в Берлине и кон-

чая арестом после дрезденского восстания—до сего времени оставались плохо освещенными. Уехал он из России с целью изучать философию, мечтал о профессуре, радикальных политических суждений до отъезда не высказывал и вынырнул на поверхности взбаломученного моря Европы в образе необузданного революционера. Драгоманов в биографическом очерке, посвященном Бакунину, справедливо замечает, что процесс, каким правый гегельянец превратился в соц.-революционера, остался нераскрытым. Этого пробела не заполнили ни старательный Макс Неттлау, ни прочие ученики Бакунина, почтительная восторженность которых не могла, конечно, заменить отсутствия точных сведений о духовном развитии учителя.

Писал Бакунин „Исповедь“ в крепости, мало думая о посторонних вещах. Он и в самом деле, как „на духу“, раскрывал перед „высоким“ исповедником свою душу, стараясь не упустить ничего существенного, перед самим собою развертывая длинный свиток своих переживаний. Досуга у него было достаточно, память свежа, жилка литератора—притом талантливого—билась сильно, и в результате мы имеем подробный, хотя не совсем стройно воздвигнутый лабиринт его духовной жизни, увлечений и разочарований,—лабиринт, которого не смог бы восстановить ни один искусный исследователь.

II.

Бакунин не скрывал от друзей, что „с глазу на глаз“ беседовал с Николаем I. В письме из Иркутска он в таких выражениях рассказывает об этом Герцену и Огареву:

„В 1851 г. в мае я был перевезен в Россию, прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин, где я просидел 3 года. Месяца два по моему прибытию, явился ко мне граф Орлов от имени государя: „Государь прислал меня к вам и приказал сказать: скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу,—хотите вы писать?“. Я подумал немного и размыслил, что перед jury, при открытом судопроизводстве, я должен бы был выдержать роль до конца. Но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился—и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде Dichtung und Wahrheit. Действия мои были,

впрочем, так открыты, что мне скрывать было нечего. Поблагодарив государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил: „Государь, вы хотите, чтоб я вам написал свою исповедь, хорошо, я напишу ее; но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище—честь и сознание, что я не изменил никому из доверившихся мне, и потому я никого называть не стану“. После этого, à quelques exception près, я рассказал Николаю всю свою жизнь за границею, со всеми замыслами, впечатлениями и чувствами, при чем не обошлось для него без многих поучительных замечаний на счет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего, повидимому, безвыходного положения, с другой же—на энергический нрав Николая, *было написано очень твердо и смело,* и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это,—что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал...“ [1]).

И дальше, в том же письме, как будто вспомнив иные страницы „Исповеди“, далеко не „твердые“ и не „смелые“, Бакунин замечает: „Я одного только желал: *не примириться* не резиньироваться, не измениться, *не унизиться* до того, чтоб искать утешения в каком бы то ни было обмане, *сохранить до конца в целости святое пламя бунта*“. (Курсив везде мой. *Вяч. П.*).

„Не легко досталось моим (речь идет о семье. *Вяч. П.*) освобожденье меня из крепости,—продолжает он.—Государь с упорством барана отбил несколько приступов: раз вышел он к князю Горчакову (министру иностранных дел) с письмом в руках (именно тем письмом, которое в 1851 г. я написал Николаю) и сказал: „Mais je ne vois pas le moindre repentire dans cette lettre“.—Дурак хотел repentir!“.

Вот то существенное, что открыл Бакунин друзьям о характере своей „Исповеди“.

В дальнейшем он ни звуком не упомянул об истинном ее содержании, ни о письмах шефу жандармов и Александру. Те же почти сведения, чуть ли не дословно, в тех же выражениях, вероятно, по письму к Герцену или со слов послед-

---

[1]) Письма Бакунина к Герцену и Огареву, Женева 1896 г, стр. 70—71.

него, приводит в качестве рассказа Бакунина Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях, превратив мимоходом Шлиссельбургскую крепость в Соловецкий монастырь [1]).

Бакунин таким образом не только скрыл от друзей подлинный характер своих писем [2]), но старался даже подчеркнуть, что в лапах Николая он оставался все тем же непреклонным и гордым бунтарем и не случайно, конечно, рассказывал позднее, как, сидя на цепи в австрийской крепости, он воображал себя Прометеем. Но „Исповедь“ вопрос о прометействе его решает бесповоротно. Опуститься на колени перед деспотом, в фигуральном, конечно, смысле,—этого более чем достаточно, чтобы навсегда лишиться права на близость к величественному образу непреклонного героя легенды.

III.

При чтении публикуемых материалов возникают в сознании такие вопросы. Как же могло случиться, что человек, явивший своей анархической деятельностью образец отважного бунтарства, пал так низко? „Исповедь“ потрясает не столько своим низменным тоном (этого тона, очевидно, нельзя было не усвоить, раз выпала незавидная „честь“ исповедываться пред тираном), сколько глубоким и искренним осуждением былой деятельности автора. „Безумие“, „грехи“, „преступления“—иных слов не находит он для ее оценки. Он благодарит даже бога за то, что тот помешал ему поднять революцию в России: этим бог, видите ли, избавил его от несчастья сделаться „извергом и палачем“ соотечественников. Он ставит крест над своим прошлым и его радует сознание, что „гибельные предприятия против государя и родины остались неосуществленными“.

В чем здесь дело? Было ли это притворство, лукавый ход человека, который решил любой ценой купить свободу? Или, быть может, и в самом деле искреннее раскаяние, подлинный пересмотр и подлинный отказ от былого мировоззрения? Насколько „Исповедь“ опорочивает всю вообще позднейшую деятельность автора, как анархиста, руководителя антигосударственной фракции Интернационала, некоторое время игравшей

---

1) „Воспоминания“. Изд. Сабашниковых, 1903, стр. 197.

2) Исключение приходится сделать для М. П. Сажина (Арман Росс). В беседе со мной М. П. Сажин мне сообщил, что Бакунин изложил ему *полное* содержание исповеди.

значительную роль в истории международного рабочего движения?

Здесь мы должны заметить следующее. „Исповедь" написана в 1851 году. Письмо—в 1857 г. История умственного развития Бакунина в подробностях известна русскому читателю весьма поверхностно. Бакунина знают, как основоположника, после Прудона, антигосударственных теорий. Поэтому „Исповедь" может быть приписана Бакунину-анархисту, тогда как ни о каком анархическом мировоззрении Бакунина не может быть речи ни в годы, предшествовавшие написанию „Исповеди", ни в долгий сравнительно период времени, который следовал за ее написанием. Скажем более точно. Даже в первые два года после побега из Сибири,—а бежал он, как известно, в концс 1861 г.,—Бакунин был далек от анархизма.

Анархический период его деятельности начинается приблизительно с середины 1864 года, когда, после неудачи польского восстания 1863 года, разойдясь с Герценом и Огаревым, он перебрался в Италию. Здесь-то и были заложены основы его анархистского миросозерцания. Взятый в плен в Хемнице в 1849 г., руководитель революционной защиты Дрездена, участник пражского восстания, дважды приговоренный к смерти и выданный затем русскому царю, Михаил Бакунин не был *ни анархистом, ни даже социалистом.* Нельзя же в самом деле для причисления Бакунина эпохи 40—50 годов к лагерю анархистов достаточным основанием считать те неопределенные и смутные, беспокойные и романтические черты его характера, которые в большой степени присущи были русскому помещику вообще, ту „широкую русскую натуру", которой „правды идеал", по словам славянофильского поэта, не вмещали „формы узкие юридических начал". Отрицательное отношение к „юридическим началам", к „государственности" было характерно, для многих славянофилов, хотя бы, напр., К. Аксакова. И, однако, мы не знаем исследователя, который высказал бы чудовищное намерение включить этого вождя славянофильства в число теоретиков анархии. А кроме таких черт характера, да революционного темперамента, за Бакуниным в годы его первого пребывания в Европе ничего анархического ни в теоретическом, ни в практическом смысле не числилось, если не считать отдельных проблесков мысли, намекавших на буду-

щий уклон его миросозерцания, как, напр., знаменитого изречения в статье „Die Reaktion in Deutschland“, напечатанной в 1843 г. в журнале Руге—„страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть“, или той его фразы, которую приводит Вагнер в своих мемуарах, произнесенной будто бы в дрезденский период: „Устроители нового мирового порядка найдутся сами собой,—передает Вагнер слова Бакунина.—Теперь необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все разрушить“ [1]).

„Исповедь“ поэтому ни в какой степени не должна бросать тени на анархическое мировоззрение Бакунина. Можно даже предположить, что необузданность его анархической деятельности питалась тягостными воспоминаниями о прошлом „падении“, которое надо было искупить самой дорогой ценой.

Говорим все это, чтобы четко отделить доанархический период мышления и деятельности Бакунина от позднейшего анархического. Считаем это тем более необходимым, что смешением их грешат не только читатели, лишь по наслышке знакомые с духовным развитием Бакунина, но даже такие известные авторы, как Ю. М. Стеклов, новейший и самый начитанный из его биографов. В своей недавно вышедшей книге [2]) Бакунина сибирского периода, т.-е. до 1861 г., называет он анархистом. А это извращает перспективу и приводит, конечно, к ложным умозаключениям.

Чтобы ответить на вопросы, поставленные выше, нам придется охарактеризовать Бакунина в эпоху, предшествовавшую его аресту, и коротко коснуться его деятельности в первые два года после побега из Сибири.

Мы не будем, впрочем, забираться в далекую юность автора „Исповеди“. Начнем наше изложение с того приблизительно времени, когда, выйдя в отставку, Бакунин появился в Москве и вскоре сделался виднейшим из членов кружка Станкевича.

IV.

С. А. Венгеров в примечаниях к соч. Белинского характеризует Бакунина до его знакомства со Станкевичем, т.-е.

---

[1]) Мемуары, т. I. Изд. „Гряд. День“. Петерб., стр. 173.

[2]) „М. А. Бакунин, его жизнь и деятельность“, изд. И. Д. Сытина, Москва 1921, том первый, стр. 371.

около 1835 г., как молоденького артиллерийского поручика (в то время Бакунину шел 22-й год), который вышел в отставку и не знал, что с собою делать. А. А. Корнилов, самый обстоятельный исследователь молодых лет будущего анархиста, с этим решительно не согласен. По его мнению, Бакунин уже в это время был „идейно настроенный, очень самонадеянный и честолюбивый юноша, который сознательно пренебрегал всякой обыденной житейской карьерой, при его способностях и связях для него вовсе не трудной, ради выполнения своего назначения, представлявшегося ему в чрезвычайно возвышенном виде“ [1]).

К мнению Корнилова всецело присоединяется Ю. М. Стеклов, добавляя, что Бакунин был при этом „довольно начитанным“ и „много продумавшим“ молодым человеком [2]).

С. А. Венгеров знал Бакунина, главным образом, по письмам Белинского. Изображение его, поэтому, односторонне и удовлетворить нас не может. Но много ли прибавляют к этой характеристике два других автора? „Идейно настроенный, очень самонадеянный и честолюбивый юноша“, говорит А. Корнилов. „Очень начитанный“, добавляет Ю. М. Стеклов. Нужно ли доказывать, что приведенные свидетельства ни в какой степени *не характеризуют Бакунина*. Разве, напр., Станкевич или Белинский, Герцен, Огарев или другой какой незаурядный представитель передовой молодежи 30-х годов не был „идейно настроен“, „начитан“, „самонадеян“ и „честолюбив“? Такими чертами можно характеризовать всех их сплошь, романтиков и идеалистов, весьма начитанных молодых людей, из которых каждый мечтал о высоком назначении и весьма презрительно относился к обыденной житейской карьере. Даже от Боткина, погрязшего в конце концов в гастрономических утехах, нельзя отнять начитанности, идейной настроенности, честолюбия и т. п. качеств, которые нисколько не определяют нам духовного облика Бакунина, т.-е. тех черт, которые должны *отличать* его от прочих представителей его поколения.

Желая определить удельный вес Бакунина, как мыслителя и революционера, мы хотим получить ответ более точный.

---

1) А. Корнилов, „Молодые годы Бакунина“. Изд. Сабашниковых, Москва 1915 г., стр. 134.

2) Указ. соч., стр. 28.

Были ли устойчивые элементы в его мировоззрении? Имелись ли необходимые знания в том умственном багаже, с которым появился Бакунин в Европе в одну из самых бурных ее эпох? Обладал ли, наконец, он какими-нибудь определенными целями, к которым считал нужным стремиться, или никаких ясных задач, кроме смутных предчувствий о будущем высоком назначении своем, он не имел?

Мы дадим на эти вопросы ответ отрицательный. Несмотря на начитанность, идейность и т. п. бесспорные качества, у Бакунина, ни во время его пребывания в Москве, ни в эпоху его появления в Европе, не было ни стойкого мировоззрения, ни основательных знаний, ни определенных целей деятельности. Его переписка, опубликованная А. Корниловым, его признания в „Исповеди“ не оставляют на этот счет никаких сомнений.

Между 1835—1836 г.г. и отъездом в Европу прошло целых пять лет усиленной умственной работы, тесного общения с университетской молодежью, изучения философии. В эти как раз годы Бакунин после отъезда Станкевича за границу (1836 г.) играет в кружке выдающуюся роль. Рассмотрим коротко этот период.

V.

Две ярких черты характерны для молодого Бакунина: жажда знания и неугомонный зуд проповедничества. Еще сам ничему не научившись, сознавая даже свою неподготовленность как в сферах жизни, так и в области знания, Бакунин тем не менее с юных лет усвоил себе тон учителя, мудреца, разрешающего спорные вопросы, что волновали окружавшую среду. Первой аудиторией, на которую излил он проповеднический пыл, были его сестры и братья, с естественным почитанием относившиеся к старшему брату. Его страстность, убежденность, энтузиазм производили, очевидно, магическое впечатление на юных учеников.

Бакунин был романтик, как все почти выдающиеся представители его поколения. Но ни в ком не сказалось с такой силой романтическое беспокойство, тоска по необычайному, как в Бакунине. При этом не был он романтиком-созерцателем. Его влекла к себе какая-то ослепляющая *деятельность*, манили фантастические дали. В одном из ранних писем Станкевича есть любопытная фраза: „Бакунин говорит мне,— пишет Станкевич Неверову, — что каждый раз, когда он

возвращается откуда-нибудь домой, ждет у себя чего-нибудь необыкновенного“ [1]. Эта тоска по необыкновенному, ожидание чудесных перемен, постоянно горела в Бакунине и толкала его куда-то вперед. Когда Бакунин говорил о себе, он неизменно твердил о великих задачах, которые ожидают его в будущем. Ему чудилось особенное призвание, которым наделила его судьба. „Я человек обстоятельств,—писал он еще в 1835 г.,—и рука божия начертала в моем сердце эти священные слова, которые обнимают все мое существование: „он не будет жить для себя“. Я хочу осуществить это прекрасное будущее, я сделаюсь достоин его. Быть в состоянии пожертвовать для этой священной цели—вот мое единственное честолюбие“. И дальше он раскрывает содержание этой цели, которой хочет отдать себя всего. Это любовь к людям, к человечеству,—стремление ко всему, к совершенствованию [2].

Верой в призвание, смутной, но властной тягой к неведомым горизонтам питалось влечение Бакунина к науке. Это была единственная область, в которую при тогдашних условиях вообще мог он направить свою кипучую энергию. Самая потребность знания приняла в его сознании романтически преувеличенные размеры. Бакунин жаждал необычайных научных откровений. Наука представлялась ему волшебной страной, вне которой жизнь теряла всякий смысл, потому-то и приводило его в ужас требование отца итти в гражданскую службу. Самые яркие мечты юности, тоска по высокому назначению, жажда чудес, все это собралось в один фокус, в один помысел, в один тугой узел, имя которому было: *наука*. „Я не могу, я не в силах оторваться от науки,—писал он однажды родителям.—Нисколько не выдавая моей неограниченной привязанности к ней за добродетель или за достоинство, я вам говорю просто, что без нее жизнь для меня не имеет никакого значения, что, оторвавшись от нее, я оторвусь от единственного источника своей нравственной и духовной жизни и утрачу все, что во мне есть силы жизни и веры в жизнь“ [3].

Вопреки воле отца уехав в Москву, чтобы там воспаленными устами припасть к источнику знания, он вскоре увидал, что Москва—не та обетованная страна, куда влекло его душев-

---

[1]) Переписка Станкевича, изд. А. Станкевича, Москва, 1914, стр. 347.
[2]) Письмо Н. А. Беер 7 мая 1835 г.—Корнилов, стр. 131.
[3]) 23 марта 1840 г.—Корнилов, стр. 625.

ное беспокойство, что ее ему нехватает, и померкшая Москва была вытеснена новым обетованным градом.

Берлин! Он должен ехать учиться в Берлин—эта мысль овладела его сознанием.

Берлин спасет его от пошлостей „внешней" жизни. Берлин поможет ему проникнуть в волшебную страну знания. Вне Берлина нет смысла жизни. С 1837 года он начинает мечтать о загранице, ищет денег для поездки. Ему представляется даже, что если он откажется от этого намерения, то потеряет все силы свои и самую возможность быть для кого-нибудь полезным. Он уверяет Станкевича в письме от 13 мая 1839 г., что не имеет даже права отказаться от Берлина. „Я имею право,—пишет он,—пожертвовать своей физической жизнью и с радостью пожертвую ее для сестер и отца; но не имею права жертвовать своей духовной жизнью, своим спасением".

А в письме сестре Татьяне, написанном приблизительно в то же время, с отчаянием сообщал, что если поездка в Берлин не состоится, и ему предстоит „тихое и постепенное опошление", он готов бросить все свои книги и занятия, вновь надеть военный мундир и отправиться на Кавказ. „Там по крайней мере нашел бы я живую деятельность и живое движение жизни".

Его выручил Герцен. На деньги, полученные от приятеля, Бакунин осуществил свою мечту. В средине 1840 года он был в Берлине. Каков же был идейный багаж, захваченный им за границу?

VI.

Огромное влияние на Бакунина, как, впрочем, и на всю мыслящую молодежь тридцатых годов, оказал Н. В. Станкевич. Бакунин познакомился с ним еще до переезда своего в Москву. В начале знакомства, в 1835 г. Станкевич передал Бакунину для изучения свой экземпляр Кантовой „Критики чистого разума". Но изучение Канта давалось с трудом. Кант был вскоре брошен и по переезде в Москву вместе со Станкевичем Бакунин приступает к изучению философии Фихте. Он читает, кроме того, историю, увлекается иностранными авторами, преимущественно немецкими—Гете, Шиллером, Жан Поль-Рихтером, Гофманом. Главным его занятием в это время было штудирование книги Фихте „Die Anweisung zum seligen Leben".

Умственные искания Бакунина юношеского периода окрашены религиозным чувством. Все настроения его прямо или косвенно соприкасаются с религией. Терминология его сплошь религиозна. Его искание философской истины было исканием истины религиозной. Пафос этих исканий имел источником с детства внушенную ему средой идею о боге.

Религиозная атмосфера вообще царила в Прямухинской усадьбе. Ею было заражено все молодое поколение Бакуниных. Она сказалась в взвинченности настроений, в нервной экзальтации, особенно характерной для сестер Михаила Бакунина. Это духовное наследство, переданное стариками молодежи, сопровождалось, конечно, пристрастием к обрядовой стороне культа, которой строго и твердо придерживался в своей семье старик Бакунин [1]).

Был в плену культа и Михаил Бакунин. Годы, проведенные в артиллерийском училище и офицерских классах, выветрили в нем преклонение перед обрядностью. Но религиозное умонастроение оказалось более крепким и мысль о „боге" была постоянным и неизменным спутником его размышлений. Ту самую „внутреннюю жизнь", жизнь „истинную" в отличие от „внешней", ложной, он и называл религией, расширяя это понятие до универсального мировоззрения, охватывающего вселенную, со всеми ее запросами, помышлениями, чувствами, искусством, науками, со всем, что есть благородного в человеке. Это „благородное", „возвышенное", „прекрасное", „вечное",—в отличие от преходящих интересов „внешней" жизни, мелкой, ненужной, материальной, а также вечное назначение человека, основанное на „божественной" его природе,—и составляло ту идеальную сферу, которую в письмах своих молодой Бакунин называл „внутренней" жизнью.

На фундаменте религиозных восприятий, усвоенных в Прямухине, в сознании Бакунина его юношеское мировоззрение фихтеанской эпохи приняло формы христианства, очищенного от обрядовых напластований, суеверий, обычаев, от всей формальной стороны официальной религии. Бакунин проникается учением Христа. Евангелие есть откровение по преимуществу—уверяет он сестру Варвару, переживавшую в то время (август 1836 г.) особенно острый период мучительных

---

[1]) См., напр., письмо Михаила отцу—у Корнилова, стр. 34—35.

размышлений о судьбе своего брака. Иисус Христос—по преимуществу сын божий: „Пойми хорошо все это,—убеждает он сестру, суля ей в религии спасение от грозящих ей бедствий. Жизнь человечества представляется ему „откровением святого духа“, единого и абсолютного духа, который говорит в человеке и образует его сознание“. Главной задачей человека он полагает очищать души человеческие от „всего земного и беспрерывно облагораживать их, делать их достойными быть жертвенниками любви бесконечной“. При этом человек не должен отгородиться от земной, злой, материальной „внешней“ жизни, которая его так отталкивала. Человек должен сблизить между собой эти обе жизни—внешнюю и внутреннюю, Злую и Добрую, дисгармоническую и гармоническую, чтобы, слив их вместе, „вечно приближаться к святой гармонии мира внутреннего с внешним“.

Все спасение таким образом в религиозном просветлении, в боге, который есть вместе с тем мир абсолютной свободы и абсолютной любви. Свобода есть божественный центр, душа всего сущего. „Абсолютная свобода и абсолютная любовь—вот наша цель; освобождение человечества и всего мира—вот наше назначение“ [1]).

Таково, в кратких чертах, мировоззрение Бакунина в фихтеанский период развития, как оно отразилось в его переписке. В этом мировоззрении очень трудно отделить то, что было Бакуниным привнесено своего, от того, что было им почерпнуто у Фихте. Правильнее было бы сказать, что он рабски следовал за учителем. В Бакунине не заметно активного, критического отношения к воспринимаемому учению.

Увлечение Фихте продолжалось приблизительно около года. Вскоре Фихте оказывается пройденной ступенью, хотя говорить о том, что Бакунин оставил его изученным до конца, совершенно не приходится.

Уже в письмах его первых месяцев 1837 г. влияние Фихте начинает сменяться влиянием только что прочитанных страниц Гегеля. Основательно он занялся им в Прямухине, куда переехал на лето из Москвы. Станкевич отправился лечиться за границу. Безденежье помешало Бакунину последовать за приятелем. Лето 1837 г. он провел поэтому в Прямухине—один-на один с Гегелем.

---

[1]) Корнилов, 226—229. То же письмо 10 авг. 1836 г.

VII.

В премухинском архиве, которым пользовался А. А. Корнилов для своего исследования, сохранились богатые материалы, рисующие то упорство, с каким одолевал великого немецкого философа Бакунин. Он старательно, по многу раз, конспектировал прочитанное, вновь и вновь возвращаясь к одной и той же главе, вновь и вновь составляя новые конспекты. До того, как начать непосредственное знакомство с Гегелем, он принимается за конспектирование логики по Кругу, бросает эту работу незаконченной и принимается за „Феноменологию духа". Проконспектировав четыре раза первую главу „Феноменологии", на второй главе он закончил покуда ознакомление с этой работой Гегеля—и приступил к „Энциклопедии", как и прежде, тщательно конспектируя прочитанное. Проконспектировав предисловие и введение в энциклопедию, он бросил и эту работу на первом параграфе „Логики".

Конспектируя „Феноменологию", а затем „Энциклопедию", Бакунин одновременно приступает к чтению лекций Гегеля по философии религии, также составляя конспекты. Эта работа возбуждала, очевидно, наибольший интерес, потому что чтение ее было доведено до конца.

На эти занятия у него ушло все лето. Осенью он возвращается к „Феноменологии духа" и „Энциклопедии", опять сопровождая изучение тщательными конспектами.

Если судить по тем материалам, которые сохранились в премухинском архиве, изучение „Феноменологии духа", первую главу которой Бакунин проконспектировал шесть раз, ни в 1837, ни в следующем году не было доведено до конца. То же самое приходится сказать и про „Энциклопедию", так что дальнейшее знакомство Бакунина с разными частями философской системы Гегеля, следы о котором носят довольно отрывочный характер, не могло быть основательным уже по одному тому, что не была закончена вся предварительная работа.

Впрочем, и позднее Бакунин возвращался к недочитанным книгам неоднократно, и годы 1837—1840 являются годами непрерывного изучения Гегеля.

Что изучение это давалось не без труда и даже приводило в отчаяние молодого философа,—можно видеть из переписки

Станкевича, любовно помогавшего Бакунину своими советами и указаниями. „Милый Мишель,—укоряет он Бакунина в письме, написанном из-за границы и, очевидно, вызванном жалобами Бакунина,—как можно так поддаваться хандре? Неужели не сладить в 2 года с логикой, значит иметь малые способности, и неужели двух годов—не хочу сказать неудач, потому что ты все-таки много приобрел (об этом свидетельствует Грановский),—но не полных удач может заставить отчаяться в дальнейшем успехе“ [1]).

Плохо ли, хорошо ли шло усвоение гегелевой философии, но с первых же дней знакомства с нею Бакунин стал яростным гегельянцем. Это надо принимать, конечно, в смысле, весьма условном, так как некоторое время вся премудрость Гегеля сводилась для Бакунина к формуле, ставшей знаменитой в истории русской литературы: „все действительное разумно“.

В „записках“, которые вел Бакунин одно время (осень 1837 года), рельефно отразилась смена философских точек зрения. Прежний дуализм в понимании мира (Добро и Зло, жизнь внешняя и внутренняя) уступает некоторому монизму. Жизнь вообще объявляется блаженством. Самая жизнь начинает отожествляться с пониманием жизни. „Жить—значит понимать,—записывает он.—В основе жизни Дух и все, что живет—есть жизнь Духа. Поэтому в истинной, действительной жизни *нет Зла*, *все благо*, нет случайности. все—святая необходимость. Все, что случайно — не истинно, призрачно, лживо. Человек сознанием своим освобождает себя от всего неистинного, случайного, призрачного,—это и есть освобождение, возвращение человека из конечности и ограниченного определения в свою бесконечную сущность“.

Отсюда и делался вывод о разумности всего действительного.

Было бы излишним делом заниматься анализом философских воззрений Бакунина гегельянского периода. Как и прежде—это было рабское следование за учителем, ученическое усвоение его слов и, конечно, стремление немедленно же передать усвоенное братьям, сестрам, друзьям и знакомым. Фихтеанская терминология в переписке сменяется гегельянской

---

[1]) Письмо из Рима 19/7 мая 1840 г. Переписка Н. В. Станкевича, изд. А. В. Станкевичем. Петербург 1914, стр. 671.

терминологией. Фихтеанское „прекраснодушие“ делается предметом иронии.

И насколько прежде, в период увлечения Фихте, „любовь“, „Бог“ не сходили со страниц его переписки, заслонив все остальное, так теперь, столкнувшись с мыслью Гегеля о том, что все действительное—разумно и все разумное—действительно, он мгновенно пленился этой мыслью, как бы фетишизировал ее, сделал основной точкой своего нового мировоззрения.

„Действительность“ пишется с большой буквы, и преклонение перед нею находит выражение в таких формулах: „Действительность есть воля Божья“, „кто ненавидит и не знает Действительности, тот ненавидит и не знает Бога“—и т. д.

Личные и семейные дела в переписке с родными чередуются с пространными диссертациями о том, что „наша общая жизнь есть стремление к таинству, и в этом таинстве, друзья мои, мы найдем все, чего жаждала душа, и это таинство не вне действительного мира, но в нем самом, потому что действительность есть жизнь Бога и отделяющиеся от действительности—отделяются от Бога. Понять и полюбить действительность—вот все назначение человека“.

В это как раз время, т.-е. в 1838 году, была напечатана в журнале „Московский Наблюдатель“, редактировавшемся Белинским, статья Бакунина: предисловие к „Гимназическим речам“ Гегеля, переведенным им же для этого журнала.

VIII.

Обращение Бакунина к действительности от фихтеанской отвлеченности сыграло, как известно, большую роль в истории русской мысли. Бакунин поделился гегелевскими откровениями с другом своим Белинским, с которым после отъезда Станкевича жил некоторое время на одной квартире.

„Приезжаю в Москву с Кавказа,—сообщал Белинский Станкевичу 29 сентября /8 октября 1839 г.,—приезжает Бакунин—мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся: сила есть право и право есть сила. Нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова, это было освобождение. Я понял

идею падения царств, законность завоевателей, я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нег произвола, нет случайности...

...Слово „действительность“ сделалось для меня равнозвучащим слову „Бог“ [1]).

Формула Гегеля в толковании Бакунина не давала оснований для оправдания безобразий, которые творились на земле. Бакунин подчеркивал, что не всякую действительность он считает *действительной, истинной.* В отличие от таковой была еще действительность призрачная, то-есть неистинная, ложная, неразумная, которая, следовательно, оправданию не подлежала. Но, размышляя о политических и социальных фактах российской современности, сам Бакунин считал их истинными, т.-е. разумными. Белинский со своей бешеной стремительностью безоглядно ринулся по пути, который казался ему логически обязательным, и дошел до статей, как „Бородинская годовщина“, или „Менцель, критик Гете“, которую Грановский в одном из своих писем называет гнусной и о которой сам Белинский позднее не мог вспомнить без отвращения.

Если попытаться точнее выяснить, каково же было отношение Бакунина к тогдашней России, каков был характер его тогдашних общественных идей,—придется сказать, что гегельянство московского периода не делало его не только бунтарем, но даже протестантом.

Общественное миросозерцание Бакунина в годы его юности, поскольку вообще можно признать за ним в то время такое миросозерцание, носило густые следы патриархально-помещичьего уклада, в котором он воспитывался. В его юношеской переписке и других произведениях описываемой эпохи нельзя найти ни прямых, ни косвенных указаний, которые рисовали бы, например, отношение его к крепостному праву. Он не задумывался над ним, как не задумывался над вопросом, нравственен ли был источник дохода, которым покупался премухинский уют, с таким восхищением воспетый им в одном из своих писем. Барская беспечность, взлелеянная крепостной усадьбой, отразилась в тех юношеских воззрениях Бакунина, которые можно было бы назвать социально-политическими и которые на фоне

---

[1]) Переписка под ред. Ляцкого, т. I, изд. „Огни“, стр. 348.

религиозных настроений долгое время имели совершенно определенный характер. В этом отношении будущий анархист в годы юности недалеко ушел от своего консервативного родителя.

Вот, например, в каких выражениях в письме к родителям семнадцатилетний Бакунин комментировал стихотворение Пушкина „Клеветникам России“:

„Эти стихи прелестны, неправда ли, дорогие родители? Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны быть чувства русского. Пушкин их озаглавил сначала: „Стихи на речь, говоренную генералом Лафайетом“, но цензура изменила этот заголовок и поставила: „Клеветникам России“. Этот старик Лафайет—большой болтун и гений-разрушитель: быв одним из первых деятелей революции в Соединенных Штатах и в двух французских революциях, он хотел бы поколебать и русских. Но нет! Русские—не французы, они любят свое отечество и обожают своего государя, его воля для них—закон, и между ними не найдется ни одного, который поколебался бы пожертвовать самыми дорогими своими интересами и даже жизнью для его блага и для блага родины“.

Эти взгляды не выветрились и к тому времени, когда он впервые вычитал из „Введения в Энциклопедию“ Гегеля, что все действительное—разумно. Консервативная оценка действительности жила в его сознании, не тревожимая критикой. Умозрение Бакунина протекало *над* действительностью, поверх нее, ее не затрагивая и с нею не соприкасаясь. И когда в предисловии к „Гимназическим речам“ ему пришлось коснуться реального бытия—с острея его пера заструился тот самый „истинный патриотизм“, который отразился в письме его по поводу „клеветников“ Пушкина. Не приходится поэтому говорить, что Бакунин, в отличие от Белинского, отказывал будто бы в разумности „российской гнусной действительности“.

В предисловии этом он развивает целую теорию примирения с действительностью, воспевает действительность, преклоняется перед ней, захлебываясь от юношеского восторга.

„Кто занимается философией,—пишет он,—тот необходимо простился с действительностью и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах, или вооружается против действительного мира и мнит,

что своими призрачными силами он может разрознить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных положений, его конечного рассудка и конечных целей его конечного произвола заключается благо всего человечества; и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности, не знает, что болезнь и зло заключаются не в действительности, а в нем самом, в его собственной отвлеченности; у него нет глаз для гармонии чудного божьего мира; он не способен понять истины и блаженства действительной жизни; конечный рассудок мешает ему видеть, что в жизни все прекрасно, все—благо, и что самые страдания в ней необходимы".

А так как Бакунин, не менее, чем Белинский, всегда и во всем доходил до конца, не останавливаясь на полупути, то из этих положений своих он делал все логические выводы.

„Да, счастье—не в призраке,—читаем мы в том же предисловии,—не в отвлеченном сне, а в живой действительности: восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни—одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени"...

И дальше:

„...Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашей прекрасною русской действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными русскими людьми" [1]).

IX.

Таково было миросозерцание Бакунина перед его отъездом за границу. Это миросозерцание было лишь поколеблено Герценом, с которым в один из его приездов в Москву познакомился Бакунин. В известной части своих мемуаров Герцен пишет, как в ответ на его замечание Бакунину и Белинскому, что с их точки зрения можно доказать, будто чудовищное самодержавие николаевской эпохи разумно и должно существовать—Белинский ответил: „без сомнения", а Бакунин „хотя и спорил

---

[1]) Полное собр. соч. В. Белинского под ред. С. А. Венгерова, т. IV. Приложение: статья Бакунина „Предисловие к гимназическим речам Гегеля", стр. 484, 492.

горячо, но стал призадумываться. Его революционный такт толкал его в другую сторону“ [1]). Если вообще считать достоверным это свидетельство (Герцен здесь перепутал хронологию), оно нисколько не колеблет наших утверждений.

В самом деле: Герцен заявил друзьям, что с их точки зрения можно доказать, будто чудовищное самодержавие, под которым они жили, разумно и должно существовать.

„Без сомнения“,—ответил Белинский, т.-е. что оно действительно разумно и существовать поэтому должно.

Как же реагировал на слова Герцена Бакунин? Он, во-первых, хотел „примирить, объяснить, заговорить“. Во-вторых, он спорил *горячо*. С кем же горячо спорил Бакунин; с Белинским, который утверждал, что николаевское самодержавие разумно, или с Герценом? Бакунин спорил горячо именно с последним. Но что означал этот горячий спор Бакунина? Одно из двух: либо он доказывал Герцену, что тот не прав и что с их, Бакунина и Белинского, точки зрения самодержавие нельзя объявить разумным, либо он в согласии с Белинским доказывал обратное, т.-е. что „без сомнения“—самодержавие разумно и должно существовать. В первом случае, в вопросе о разумности самодержавия, он был бы вместе с Герценом против Белинского, и „горячий спор“ был бы излишним. При таком допущении, кроме того, излишними были бы слова Герцена о том, что Бакунин „*стал призадумываться. Его революционный такт толкал его в другую сторону*“. Остается, следовательно, допущение второе, что Бакунин „спорил горячо“, защищая точку зрения именно Белинского, хотя он при этом и стал призадумываться.

Правда, в это приблизительно время он поссорился с Белинским и язвительно высмеивал преклонение „неистового Виссариона“ пред пошлой действительностью. Но язвительность его относилась лишь к той части действительности, которую Бакунин считал призрачной, не истинной, ложной. Но причислял ли он к этой призрачной действительности николаевское самодержавие, т.-е. были ли в его мировоззрении элементы, отрицавшие политический и общественный строй николаевской империи? Таких элементов не было. Имеется одно письмо его к А. А. Беер, написанное 30 марта 1839 г.,

---

[1]) Полное собр. соч. Герцена, Госуд. Изд-во, т. XIII. „Былое и Думы“, стр. 15—16.

т.-е. в самый разгар ссоры с Белинским, которое должно рассеять наши сомнения на этот счет.

Вот что писал Бакунин в этом письме: „Николай,—отзывался он о своем брате,—славный человек. Он не заражен нашей общей русской ленью и бездеятельностью и, с другой стороны, не загрязнен также пошлым французским романтизмом и либерализмом. Он весь предан царю и отечеству, он истинный русский, и, верю, пойдет далеко, в нем верный и „крепкий практический ум“ [1]).

Для ясности укажем, что письмо это было написано после его полемики с Белинским, но до бесед с Герценом, время которых точно установить невозможно.

Во всяком случае, в мировоззрении правого гегельянца, до отъезда его за границу, т.-е. до мая 1840 г., не было следов какого бы то ни было политического радикализма или влияния социальных идей, которые волновали уже в то время Герцена и Огарева. Бакунин, правда, предпочитал круг молодых западников кругу славянофилов (оба эти течения окончательно сформировались лишь после его отъезда за границу), но никаким западническим, социальным духом от герценовского кружка он не заразился. И мнение, которое высказывает Ю. М. Стеклов в своей книге [2]), будто Бакунин еще в России *не мог не знать* если не самих сочинений, то о сочинениях главных утопистов — Сен-Симона и его школы, Фурье, Пьера Леру, которыми очень увлекались в кружке Герцена, — является плодом фантазии т. Стеклова и опровергается теми строками „Исповеди“, в которых Бакунин говорит о впечатлении, произведенном на него книгой Лоренца Штейна. Именно через посредство Штейна впервые Бакунин познакомился с социальным движением Запада. А если даже допустить, что кое-что он мог слышать из уст Герцена, то слушал невнимательно, краем уха, совершенно не обратив на новые идеи никакого внимания, и так основательно сумел позабыть все, что ему рассказывал Герцен, что при чтении книги Штейна принял их за какое-то новое, неслыханное прежде откровение.

Для нас во всяком случае является бесспорным факт, что,

---

1) Корнилов, стр. 574.

2) Указ. соч., стр. 107.

покинув Россию, Бакунин был чужд политическим и социальным идеям своего времени и, что более важно, не имел к ним никакого вкуса.

X.

Сказанным для характеристики Бакунина 40-х г.г., в сущности, можно было бы ограничиться. Всю историю его дальнейших увлечений и разочарований читатель найдет в „Исповеди". Из признаний автора читатель увидит, как быстро „излечился" Бакунин от своего увлечения метафизикой. Гегель, оказывается, не был „преодолен", его система не была отвергнута Бакуниным во имя другой системы, более основательной с точки зрения новых настроений нашего мечтателя. Философия попросту была „покинута", оставлена, потому что не сумела удовлетворить каких-то иных, совсем не философских его потребностей.

Движущей силой его исканий была не интеллектуальная тоска по раскрытию неразгаданных загадок человеческого бытия, *но неудовлетворенная жажда деятельности*. Только в Берлине, полтора года спустя после отъезда из России, он сознал это, оставил философию и с головой бросился в политику.

„Если во мне был эгоизм,—признается Бакунин в „Исповеди",—то он единственно состоял в потребности движения, в потребности действия. В моей природе был всегда коренной недостаток: это любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него, как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние, душа моя находилась в неусыпном волненьи, требуя действия, движения и жизни...

„...Потребность движенья и действия,—продолжает он дальше,—осталась во мне неудовлетворенною. Сия потребность, соединившись впоследствии с демократической экзальтацией, была почти моим единственным двигателем. Что же касается до последнего, она может быть выражена в немногих словах: любовь к свободе и неотвратимая ненависть ко всякому при-

теснению, еще более, когда оно падало на других, чем на меня самого“.

На него сильное впечатление произвела книга Штейна о французских социалистах; он с интересом слушал проповеди Вейтлинга, перезнакомился с Марксом, с немецкими коммунистами, с Прудоном, с социалистическими деятелями, но не сошелся ни с кем, не примкнул ни к одному течению, ни к одной группе, все время своего пребывания в Европе оставаясь совершенно одиноким, обуреваемым жаждой революционного действия, но без определенных политических и социальных воззрений. Умонастроение его этого времени хорошо выражается общими словами „*отчаянный демократ*“. Он в самом деле всего-навсего был „отчаянным демократом“, но без демократических связей, без политической и социальной программы, с одной лишь потребностью борьбы, готовностью броситься в первое попавшееся революционное предприятие...

Очутившись в Европе без средств, без ремесла, оторвавшись от своего класса, порвав с его интересами, решительно осудив его, но вместе с тем не связав себя ни с одним другим классом, ни с одной общественной группой, питая горячую симпатию к угнетенным народным массам,—он оказался за бортом европейского движения, в полном смысле слова *деклассированным интеллигентом*, т.-е. лишенным связей и психологии какого-нибудь класса, без твердого *своего* места среди всеобщего, возраставшего хаоса социальных и политических столкновений. Затосковав в Европе отчасти от вынужденного безделья, отчасти от одиночества, не находя точки приложения своей силы, кочуя из Парижа в Брюссель, из Брюсселя в Дрезден, из Дрездена в Прагу, потом в Познань, опять в Брюссель, Париж, Прагу и так дальше, гонимый к тому же международными жандармами, он затосковал о России и ему стало казаться, что *славянство и есть тот маяк*, к которому должен он держать свой курс. Чужак среди французов, ненавидящий немцев, отвергнутый поляками, он почувствовал себя как дома лишь на Пражском съезде, единственном месте, где его оценили, где слушали со вниманием, и с той поры славянство на долгое время стало его родной средой, целью его стремлений, объектом его деятельности.

Восхитившись книгой Штейна, с интересом выслушивая пламенные проповеди Вейтлинга, познакомившись с литера-

турой утопического социализма, знакомый с учением Прудона и „Коммунистическим манифестом“ Маркса и Энгельса, Бакунин не сделался ни коммунистом, ни социалистом. *Интернациональный* характер рабочего движения остался чуждым его сознанию, которое, напротив, со страстью усвоило идею освобождения славянского племени и эта идея *национальной* борьбы пленила душу Бакунина. Но поскольку его деятельность, как идеолога славянского освобождения, должна была принимать какие-то конкретные формы, она неминуемо и неизменно принимала формы утопические, и его проекты революции в Богемии, захвата власти в Праге, низвержения царской власти в России (несомненные отголоски швейцарских планов Вейтлинга), его мечты о диктатуре—все это столь же фантастично, сколь политически наивно. Он хотел быть вождем, не имея ни штаба, ни войска. Армия, с которой намеревался он произвести всесветную революцию, разрушение австрийской монархии, свержение царя Николая и захват власти, состояла всего-на-всего из двух молодых чехов, братьев Страка, которые, не получая от своего вождя денег, ничего не могли предпринять.

Фантастическая деятельность, лишенная основательного теоретического обоснования, сопровождалась полным незнанием среды, на которую направлялась. Он хотел поднять революцию в Польше, имея смутное представление о поляках; отправляясь в Прагу руководить славянским движением, он лишь по книжкам, кое-что, знал о чешском народе. Выступая в Европе от имени многомиллионного русского народа, уверяя европейцев, будто Россия стоит накануне революции,— он Россию знал еще меньше, чем какую бы то ни было другую страну Европы, т.-е. не знал ее совершенно.

Мог ли последовательным политиком стать человек, не имевший необходимых знаний, ни политических связей, гонимый лишь революционной страстью, неопределенной потребностью движения, действия, активности, чувством *симпатии* к угнетенным и ненавистью к насилию?

В силу перечисленных условий из Бакунина до анархического периода серьезного политического деятеля не выработалось. Деклассированный интеллигент, увлекавший страстностью своего темперамента, он являл собой тип политического романтика, способного бестактно взять деньги у

буржуазного правительства и тем навлечь на себя обвинение в том, что является его наемным агентом [1]).

Придерживавшийся консервативного образа мыслей по политическим вопросам в дни своей юности, политически индифферентный в дни своих увлечений наукой (в Берлине он так еще презирал политику—пишет он в „Исповеди",—что даже не читал газет) и мгновенно затем влюбившийся в политику,—он не вырвал из души своей былых детских впечатлений, и у нас нет никаких оснований не верить ему, когда он признается царю, будто под пеплом политических страстей в нем сохранилось какое-то особенное чувство к венценосцу Николаю. *Нет оснований не доверять*, потому что это признание как-то очень хорошо вяжется со всей его психологией. Подпав в Берлине под влияние младо-гегельянцев, восхитившись книгой Штейна, он из философских посылок Гегеля сделал крайние революционные выводы, которые в самой общей, даже не политической форме и выразил в своей знаменитой статье о реакции в Германии. И, повинуясь этому новому выводу, под впечатлением своей новой революционной влюбленности, действуя под наитием романтической веры, он ринулся в движение.

Но так как был он одинок, действовал за свой страх и риск, чуждался сложившихся политических группировок, то в первый же критический момент оказался совершенно незащищенным от несчастной случайности, которая, скользнув по серьезному политическому деятелю, лишь слегка его царапнула бы, для Бакунина же оказалась роковой.

Я говорю о клевете, пущенной Киселевым, русским посланником в Париже.

XI.

Что слух о предательстве Бакунина был случайным и злостным,—в этом нет никаких сомнений. Не случайно было лишь то, что слух этот пристал к Бакунину, прилип к нему и преследовал его, словно проклятие. Как-то сразу в

---

[1]) „Исповедь" рассеивает легенду, пущенную в оборот Герценом, будто Флокон и Коссидьер, желая выжить из Парижа „дорогого проповедника", дали ему поручение „с братской акколадой" ехать к славянам. Ничего подобного не было. Бакунин уехал по своей воле, потому что ему стало казаться, будто призвание его „не в Париже и не во Франции", а на русской границе. Для этой поездки он занял у временного правительства 2.000 франков.

него уверовали *прежде всего поляки,* к которым Бакунин льнул всем сердцем. И те строки „Исповеди“, где он рассказывает о подозрениях, которые возбуждало его имя в эмиграции, задолго до появления знаменитой корреспонденции в „Neue Rheinische Zeitung“, отнимают у анархистов последнюю возможность обвинять Маркса в распространении этой клеветы. Несмотря на печатную реабилитацию Бакунина, порочащий его слух много раз вновь и вновь возникал, тлея в глубинах эмигрантской—прежде всего *славянской* — среды, погасая и скрываясь, но не потухая. И эта беззащитность Бакунина перед клеветой определила в конце концов его дальнейшее участие в движении.

В „Исповеди“ очень часто Бакунин с большой искренностью говорит о своем одиночестве:

„Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, государь. Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись, наконец, от юношеского бреду и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дел и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родных и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем долее жил за границей, тем глубже чувствовал, что я русский и что никогда не перестану быть русским. К русской же жизни не мог иначе возвратиться, как преступным революционерным путем, в который тогда еще плохо верил, да и впоследствии, если правду сказать, верил только через болезненное, сверхъестественное усилие, через насильственное заглушение внутреннего голоса, беспрестанно шептавшего мне о нелепости моих надежд и моих предприятий. Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я себе сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование“ [1]).

---

[1]) Герцен в статье своей „Михаил Бакунин“ (т. VI Полн. собр. соч. Госуд. Изд-во). пишет: „Лишь в начале 1847 г. ...я снова увидел Бакунина в Париже. Он вел очень уединенную жизнь, виделся лишь с несколькими русскими и польскими друзьями, часто бывал у Прудона, иногда посещал Жорж-Занд. Он чувствовал усталость, был печальнее, чем в России, но очень далек от отчаяния“ (стр. 480 Курсив мой. *Вяч. П.*).

Мы видим Бакунина во Франкфурте-на-Майне в первых числах апреля, в дни открытия предпарламента, когда сюда съехались виднейшие представители политической Германии. Он знаком со всеми деятелями германской революции, посещает клубы, является свидетелем целого ряда революционных предприятий, но остается в „прежнем совершенном уединении“, когда вокруг жизнь бьет ключом. По дороге в Берлин, когда он задержался в Кельне, им овладела „тоска неотразимая“. Он, наконец, в Праге, в дни пражского конгресса, за несколько дней до восстания. Поляки, чехи и другие оживленно о чем-то хлопочут, ссорятся, спорят, каждый чего-то добивается. „Мне опять стало тоскливо,—жалуется Бакунин,—и я начал чувствовать себя в Праге в таком же уединеньи, в каком был прежде в Париже и Германии“.

Можно ли приписать такую психологию революционеру, твердо сознавшему, к чему он стремится, воодушевленному ясными целями борьбы, волей к победе? Нет, нельзя. Это настроения романтика, поэта — при том неудачника; фантаста, не умеющего держаться в границах своего вымысла. Сам Бакунин указывает, что только *вера* поддерживала его энтузиазм. „Без связей, без средств, один со своими замыслами посреди чужой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе: что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное; что одна вера есть уже половина успеха, половина победы; совокупленная с сильною волей, она рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу; говорил о себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и русских, я сделаю революцию в России возможною, необходимою. *Одним словом, я хотел верить, хотел, чтобы верили и другие*“ (Курсив мой. *Вяч. П.*).

Что же удивительного в том, что романтик, не знавший твердо, чего он хочет, положившись на веру и подавив в себе все сомнения, когда потерпел кораблекрушение,—подверг переоценке свои прежние мысли и настроения и отвергнул их, как заблуждения своего незрелого ума и чувства.

Это именно и произошло с Михаилом Бакуниным.

Все грехи и преступления, как называет свою деятельность Бакунин, произошли, по его мнению, от ложных понятий. Все

замыслы его, столь увлекательные в то время, когда он их замышлял, в каменном уединении Петропавловской крепости, где он—по его признанию—думал так серьезно, как никогда,—стали казаться ему Дон-Кихотским безумием.

„В продолжение более чем двухлетнего одинокого заключения я успел многое передумать и могу сказать, что никогда в жизни так серьезно не думал, как в это время: я был один, далеко от всех обольщений, был научен живым и горьким опытом. *Еще более усумнился я в истине многих старых мыслей*, когда, въехав в Россию, нашел в ней такую человеколюбивую, благородную, сострадательную встречу“. (Курсив мой. *Вяч. П.*).

Вот, собственно, финал духовных превращений Бакунина, начавшихся с участия в политике и закончившихся в Алексеевском равелине. *Усомнился в истине многих старых мыслей*, т.-е. тех, которые казались ему истинными на Западе, и вернулся к мыслям еще более старым, к мыслям московского периода.

Попав за границу, захваченный всеобщим движением, он признал разумным бунт против действительности, потому что ведь самый бунт—тоже действительность. Но, потерпев кораблекрушение, оскорбленный подлым подозрением, своим участием в дрезденском восстании хотевший смыть с себя черное пятно клеветы, он в каменном мешке Петропавловки разочаровался в действительности бунта и под диктовку разочарования пришел к заключению,—правда, опять временному,—что, и в самом деле, все действительное—разумно, „*что история имеет свой собственный таинственный ход, что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке*“, и так далее, и так далее, словом, все то, что читатель прочтет на стр. 89 „Исповеди“ и что является чуть ли не повторением мыслей, изложенных в „предисловии“ к гимназическим речам Гегеля, которые мы приводили выше.

Обуреваемый жаждой дела, не видя перед собой определенных социальных и политических задач, он пытался удовлетворить ее философским умозрением, со страстью бросаясь от Канта к Фихте, от Фихте к Гегелю. Не найдя в философии удовлетворения, бросил он в сторону Канта, Фихте и Гегеля и, не запасшись достаточным багажом, пустился в открытое море.

Но море—стихия серьезная. Оно не любит шутить, и корабли, отправляясь в далеко плавание, забирают с собой всегда основательный груз. Такого груза у Бакунина не оказалось. Легкое суденышко сделалось добычей волн и, бросаемое из стороны в сторону, игрушка непогоды, оно оказалось выброшенным на берег.

XII.

Мы не будем останавливаться на мертвых годах крепостного заключения Бакунина.[1]) Письма его к родным из крепости проходили через руки жандармов, свирепо цензуровались и, понятное дело, в них Бакунин не мог говорить всего, что хотел, и так, как хотел. Перейдем поэтому к сибирскому периоду его жизни.

14 февраля 1857 г. он послал письмо Александру II. В марте того же года вышел из Шлиссельбурга, пробыл неделю в III отделении, сутки провел в Премухине и в апреле месяце был направлен на жительство в Томск.

Появление революционера с европейским именем, овеянным героической легендой, даже для сибиряков, привыкших к крупным фигурам, было явлением незаурядным. Но этот крупный революционер возбудил в сибиряках чувство сильного недоумения. Один из них, историк города Томска, А. В. Адрианов, в статье „Томская старина" в таких выражениях писал о Бакунине:

„Видно, этот ветеран 40-х гг., крутившийся в революционном вихре Зап. Европы. перенесший все ужасы десятилетнего заточения в крепостях Германии, Австрии, России, дважды приговоренный к смерти, видно он, попавши в Томск, угомонился и захотел, наконец, подумать о своей личной жизни, об устройстве своего гнезда" [2]).

Это не единственное свидетельство, в котором звучит недоумение. Дело, конечно, не в том, что, появившись в Томске, Бакунин приобрел в собственность небольшой дом,—этого требовали элементарные житейские удобства, и о таких пустяках говорить не стоит. Но образ его жизни, круг, в котором он стал вращаться, все это самым резким образом противоречило

---

1) Интересующихся отсылаю к статье своей „Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина" журнал „Красная Новь" 1921 г. № 2-й.

2) „Город Томск"—изд. Спб. Т-ва Печатного дела, Томск 1912, стр. 123.

представлению, созданному сибиряками о революционной знаменитости.

В марте 1859 г., благодаря хлопотам Муравьева-Амурского, тогдашнего генерал-губернатора Сибири, близкого родственника Бакунина, он был переведен на жительство в Иркутск, где поступил на службу сначала в Амурскую компанию, позднее в золотопромышленное предприятие Бенардаки. Н. А. Белоголовый в своих воспоминаниях говорит, что из всех писем его иркутских знакомых было видно, как Бакунин восстановил против себя всю передовую молодежь тем, что „всецело примкнул к генерал-губернаторской партии". В Сибири во времена Муравьева-Амурского образовалось сильное общественное мнение. Выдающуюся роль в нем играли Петрашевский, декабристы и передовые местные люди. Этой „общественной" партии, одушевленной прогрессивными идеями своего времени, противостояла партия официальных людей, чиновников и приближенных генерал-губернатора, которые пользовались своей властью далеко не в интересах общества. Около Муравьева образовался тесный кружок из приезжих лицеистов и правоведов (Муравьев не любил студентов), занимавших важнейшие посты в администрации края. К этому кружку и примкнул Бакунин, став в неприязненные отношения прежде всего к Петрашевскому, непримиримейшему из врагов Муравьева-Амурского. Белоголовый с недоумением говорит о том, что „занятие такой позиции так категорически противоречило всей репутации и предшествовавшей деятельности знаменитого агитатора, что становило всех втупик и могло быть объяснено только тем, что Бакунин, попавши в Иркутск на поселение, был встречен с родственным радушием генерал-губернатором Муравьевым" [1]). В этом недоумении чувствуется отраженный свет деятельности „знаменитого агитатора" анархического периода: воспоминания свои Белоголовый писал после смерти Бакунина. Но те же недоуменные вопросы встречаем мы и в других источниках, рисующих пребывание Бакунина в Сибири. Бакунин „не прикасался к черни.—Он плавал по верхушкам" [2]). Эта близость к „верхушкам", враждебное отношение к сибирским „демократам", политическая умеренность ярче всего ска-

---

[1]) „Воспоминания", стр. 626. Цитирую по первому изданию 1897 г.

[2]) Б. Милютин. „Губернаторство Н. И. Муравьева". „Историч. Вестник" 1888г., том XXXI, стр. 629.

зались в отношении Бакунина к сановному дяде, графу Муравьеву-Амурскому.

Из писем Бакунина к Герцену и Огареву всем известно увлечение его генерал-губернатором Вост. Сибири. В своем „Ответе Колоколу“, говоря о Петрашевском и Муравьеве, Бакунин пишет, что выбирать между этими двумя—значит выбирать между „благородным человеком“—и... Петрашевским.

Несправедливая ненависть Бакунина к Петрашевскому просто изумительна. Над самоотверженной борьбой, которую вел Петрашевский с всесильным „хозяином“ края и его ставленниками, за которую он подвергался гонениям, арестам и высылкам, Бакунин издевался. Протестующие заявления, которыми Петрашевский засыпал столицу, министерство, Сенат, Бакунин называл интригами и ябедой и уверял, совершенно ложно, конечно, будто Петрашевский пишет на генерал-губернатора доносы в III отделение. „Грязный агитатор“, обзывает он Петрашевского. „Честь и личное достоинство для него—понятия чужестранные“. „Клевета и ложь—его мелкая монета“ [1]).

И в противовес фигуре этого человека он выставлял графа Муравьева. Муравьев—„один из лучших и полезнейших людей в России“,—уверяет он Герцена. „Он решительный демократ“. „Он благороден, как рыцарь, чист, как мало людей в России“—и мы, т.-е. Бакунин, Герцен и Огарев—„можем назвать его безусловно нашим“ [2]).

А ведь Муравьев, это нам доподлинно известно, вовсе не был таким рыцарем без страха и упрека, каким изображал его неумеренный апологет. „Либерал и деспот, демократ и татарин“—образно определил Муравьева Герцен. Это определение слишком суммарно. Демократ и либерал на словах, татарин и деспот на деле,—такова будет исторически более правильная его характеристика. Это был сатрап, ничуть не хуже и ничуть не лучше других сатрапов, терзавших Россию. „Произвол и беззаконие“, с которыми яростно сражался Петрашевский, были столь же для Муравьева характерны, как либеральные фразы. Он не обманул этими фразами иркутского общества. Не сумел обмануть и Петрашевского. В этом именно

---

[1]) „Ответ „Колоколу“.—Письма Бакунина к Герцену и Огареву, Женевское изд. 1896г., стр. 55, 58.

[2]) Там же, письмо 7/XI 1860 г.

обстоятельстве лежат причины неприязни либеральничавшего генерал-губернатора к неподкупному ссыльному. Петрашевский, впервые увидя Муравьева в Шилкинской тюрьме в 1858 г., несмотря на все его любезности, на вопрос Львова, что он думает о Муравьеве, ответил фразой из игроков Гоголя: „Это штабс-капитан из той же компании", т.-е. что он такой же политический шулер, как другие [1]).

Но Бакунин, очарованный „демократизмом" сановного дяди, ничего этого не замечал, не видел, да и не хотел видеть. Он был далек от настроений, которыми жила иркутская ссылка. Он мечтал о возвращении в Россию, чтобы принять посильное участие в строительстве русской жизни. Никаких анархических, бунтовских планов в его голове не было. Еще в 1860г., за год до побега—тогда положение Муравьева было еще крепко—Бакунин писал Герцену: „Теперь надо в Россию, чтобы искать людей, вновь познакомиться со старыми и открыть новых, чтобы ознакомиться живее с самою Россиею и постараться угадать, что от нее ожидать, можно (чего) нельзя". И дальше он говорит о революции, но вскользь, бегло, словно чувствуя себя обязанным придать радикальный оттенок своим планам. А письмо это шло Герцену с верной оказией и опасаться Бакунину было нечего [2]).

Не помышляя о побеге, Бакунин всей душой стоял за Муравьева, защищая его от нападок, которые появились в „Колоколе".

Заступничество за генерал-губернатора, особенно после прогремевшей дуэли муравьевского фаворита Беклемишева с чиновником Неклюдовым,—дуэли, которую все, знавшие обстоятельства дела, считали подлым убийством,—совершенно уронило Бакунина в глазах не только иркутян, но и самого Герцена. „Я вам верю, —говорил Герцен Белоголовому, привезшему материалы по делу о деятельности муравьевской клики.—Рассказ ваш заставляет тускнеть образ героя Бакунина" [3]). Материалов, привезенных Белоголовым, Герцен не напечатал—слишком неприглядную тень бросали они на Бакунина. Но не напечатал также последнего письма Бакунина в защиту Муравьева.

---

[1]) Письмо Львова Завалишину от 4 авг. 1860 г. Сборник старинн. бумаг из музея Щукина, ч. 10, стр. 246. См. также исследование В. И. Семевского „М. В. Буташевич—Петрашевский в Сибири" „Голос минувшего" 1913 г. №№ 1, 3, 5.

[2]) Письмо от 8/XII 1860 г., Переписка, стр. 74.

[3]) „Воспоминания" Белоголового, цит. изд., стр. 627.

Белоголовый высказывает предположение, будто Бакунин, имея уже в голове план побега, „хотел для более верного обеспечения себе успеха завоевать благорасположение как Муравьева, так и властных его фаворитов и верно рассчитал, что услуга, оказанная его содействием для помещения их возражения в „Колоколе“, принесет ему лично большую пользу [1]).

Так пытается он объяснить горячность, с какою защищал Бакунин Муравьева. Но достаточно прочесть письма Бакунина к Герцену, чтобы заключить, что Бакунин никакой маски не носил, совершенно искренно подписывался под либерально-диктаторской идеологией Муравьева и оправдывал всю его сибирскую деятельность. В интимных беседах с племянником Муравьев, может быть, и в самом деле высказывал радикальные мысли, нравившиеся Бакунину. Вопрос заключается лишь в том, далеко ли в то время умонастроение Муравьева ушло от умонастроения Бакунина? Некоторый свет на этот вопрос бросает деятельность Бакунина уже после побега его из Сибири.

В 1861 г. выяснилось, что Муравьев в Сибирь не вернется. Бакунин лишался могущественного покровителя. Надежд на возвращение в Россию было мало. Сидеть дольше в Сибири было глупо. А тем временем истлевали переживания, которые в Алексеевском равелине свинцовой плитой придавили мечты революционной юности и склонили его голову перед Николаем. Вольный сибирский воздух вновь стал пьянить сознание. Из под пепла усталости и разочарований снова пробивалось былое романтическое беспокойство. Вновь оживала вера в неисполненное высокое назначение. Как и прежде, начинал томить неудовлетворенный голод деятельности и обретали утраченную силу забытые слова и мысли. „Отчаянный демократ“ возрождался в новой жизни.

В июне 1861 г. Бакунин решил из Сибири выбраться. Выехав из Иркутска с целью будто бы изучения края, он кружным путем, с большими трудностями, через Японию и Америку, 28 декабря 1861 года прибыл в Лондон.

XIII.

„Друзья,—сообщал он из Сан-Франциско Герцену и Огареву,—мне удалось бежать... Всем существом стремлюсь к вам

[1]) „Воспоминания“, 626—627.

и лишь только приеду к вам—примусь за дело; буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей idée fixe с 1846 г. и моей практической специальностью в 1848 и 1849 г.г. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом, не говорю—делом,—это было бы слишком честолюбиво; для служения этому великому делу я готов итти в барабанщики или даже в прохвосты, и если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная, вольная, славянская федерация—единственный исход для России, Украйны, Польши и вообще для всех славянских народов“ [1]).

Появившись в Европе, Бакунин примыкает к Герцену и Огареву. Он не помышляет о разрушении государственности вообще. Перед ним не возникает еще вопросов об уничтожении буржуазной цивилизации. Интернационализм для него попрежнему мертвая грамота. Его воодушевляет, напротив, идея национального объединения славянского племени. Величие славянства продолжает быть маяком, к которому держит он путь. В этот период Бакунин близок славянофилам, как никогда.

„...Я исключительно занимаюсь вопросом польским и русским общественным делом,—писал он из Лондона жене брата Н. С. Бакуниной,—проповедую систематически и по горячему убеждению ненависть к немцам и говорю, как Вольтер, про Бога: s'il n'avait point d'allemands, nous devrions les indenier“, потому что ничто так не способно соединить славян между собою, как коренная ненависть к ним“ [2]).

Те же самые строки, чуть ли не в буквальном смысле, найдет читатель в „Исповеди“ на стр. 75. И хотя в письме к Герцену, написанном 1 августа 1863 г. из Стокгольма, Бакунин уверял, будто „никогда не был панславистом“, а лишь принимал в славянском движении „горячее участие“, мы с этим согласиться не можем, и ту идеологию, которую привез он из Сибири в Европу, определим именно, как *панславизм*. В качестве свидетеля, которому нельзя отказать в авторитетности, дадим слово самому Бакунину.

Вот что писал он одному из своих знакомых, имя которого осталось неизвестным:

---

1) Переписка, указ. изд., стр. 74.

2) „Былое“, июль 1906 г. Письмо от 16 июня 1862 г.

„Панславизм в обратном смысле есть немце-ненависть, потому что немцы первые коренные и злейшие притеснители славян,—всех славян. Они приобрели себе рыцарские шпоры угнетением и даже уничтожением славян, и теперешний немецкий мещанин с удовольствием сделался бы нашим рыцарем. Они основали свое бытие, свою силу на славянских развалинах; они навязали славянам насильно свое образование, нам крайне противное, как смертельный яд, как заразительную чуму, и этим развратили, разделили, разорвали связь для того, чтобы легче поработить. Они ненавидят и презирают славян, потому что чувствуют, что они—отжившие, а мы полны жизни, их наследники с будущностью.

„Говоря положительно, панславизм, это вера и уверенность в будущности славян; мы, славяне, составляем свой собственный мир, мир, который тысячу лет был угнетаем разными врагами и все-таки не был уничтожен; мир, который был разрываем на части посторонними народностями, но все-таки соединился под одной формой по инстинктивному чувству братства,—святое слово для славянина. Так что поляк и русский, несмотря на историческую вражду между собою, ближе, чем каждый из них к англичанину, даже к французу; оба ненавидят немца со всей силой душевной энергии. Мир, который они, несмотря на развращение и чужое влияние, сохранили, и которым по своей натуре отличаются от других племен, братство, преобладание деревни над городом, сельского быта над городским; всеобщая безграничная любовь к свободе и патриархальное общество; мир, который имеет огромные виды выразиться в Польше, Богемии, Сербии и в России, но до сих пор еще не высказавшийся и сохранивший свое последнее слово для приближающейся будущности.

„Панславизм есть вера, что соединение всех славянских племен, состоящих из 85 миллионов, внесет новую цивилизацию, новую живую истинную свободу в мир. Кто из вас сомневается в этом?“ [1]).

Эта панславистская и славянофильская фразеология была, конечно, не случайной обмолвкой. Она коренилась в общей системе тогдашних воззрений Бакунина, воззрений, которые

---

[1]) „Былое“, 1906, август, стр. 260—261. Подробнее об этом см. Вяч. Полонского „Бакунин“, изд. Госуд. Издат-ва, 1920 г., глава третья—„Бакунин-панславист“.

даже при самом горячем желании нельзя назвать революционно-социалистическими или анархическими. А политическая и социальная программа Бакунина тогдашнего времени нам известна из брошюры, вышедшей в Лондоне в 1862 году. Эта именно брошюра и была тем манифестом, с которым возвращался Бакунин к политической деятельности.

Он не намеревался в то время превратить Россию в федерацию вольных анархических общин. Бакунин настаивал лишь на самоуправлении народном в общинах, волостях, уездах, областях и, наконец, в *государстве*. Он готов согласиться даже на самоуправление с *царем*, потому что „все равно, как хочет народ“.

В этой брошюре, над которой витала тень Константина Аксакова, он вместе со славянофилами верил, что русский народ, свободный „от закоренелых“ на Западе, в закон обратившихся предрассудков религиозных, политических, юридических и социальных,—внесет в историю новые начала и создаст новую цивилизацию, новую веру, новое право, новую жизнь.

Вместе с славянофилами он верил, что путь к созданию этой цивилизации идет через Всенародный Земский Собор. Только в Соборе—спасение России. Не будет созван Собор—быть беде страшной. И всей брошюрой, адресованной как будто царю Александру II, он хотел воздействовать на воображаемого своего собеседника, уговорить, склонить, убедить его.

Самый стиль этой работы, обороты речи носят местами характер такого личного обращения.

„Народу нужна воля,—пишет Бакунин,—так *дайте* ему эту волю“.

„*Дайте ему* полное самоуправление. *И не бойтесь*, он будет сам собой управляться“.

„*Не бойтесь* также, что... рушится единство русской земли“.

„Народу нужна земля — *отдайте ему всю землю.* А чтобы не разорить собственников мнимым выкупом, пусть выкупается она не крестьянами, а целым государством“ (Курсив мой. *Вяч. П.)*.

Бакунин рисует своему воображаемому собеседнику соблазнительные картины:

„Если бы в этот роковой момент, когда для целой России

будет решаться вопрос о жизни и смерти, о мире и крови, предстал перед Всенародный Собор царь земский, царь добрый, царь правдивый, любящий Россию более себя и доверяющий широко любви народной, готовый устроить народ по воле его, чего бы не мог он сделать с таким народом? Кто смел бы восстать против него? И мир, и вера восстановились бы как чудом, и деньги нашлись бы и все бы устроилось просто, естественно, для всех безобидно, для всех привольно"...

Он намекает дальше, что от царя зависит успех или неуспех революционной пропаганды. Он уверяет царя, будто огромное большинство нашей молодежи не имеет предрассудков ни за царя, ни против царя, и если царь не изменил бы направления реформ в обратную сторону,—молодежь никогда бы от царя не отстала.

Ну, а если царь все-таки увещаниям не поддастся и пойдет своей дорогой?

Тогда,—о, тогда будет худо.

„... Если вы хотите встретиться с народом, свободным от наших (т.-е. революционной партии. *Вяч. П.*) влияний,— созывайте его теперь. Ну, а если пропустите время, то, пожалуй, наша передовая молодежь, наша надежда и наша сила пробьет себе, наконец, дорогу к народу и через роковую пропасть подаст ему руку. Вина будет ваша".

Бакунин допускал даже возможность примирения с царем, если царь сумел бы сделаться другом народа.

„С кем и куда и за кем мы пойдем, — резюмировал он свои соображения о путях спасения России,—за Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним?

„Скажем правду, *мы охотнее всего пошли бы за Романовым, еслиб Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского*".

Дальше эта мысль выражалась еще ясней:

„Наше отношение к Романову ясно: мы—не друзья его и не враги его; мы друзья народно-русского славянского дела. Если царь во главе его,—мы с ним. И когда он пойдет против него, мы будем его врагами..." (Курсив мой. *Вяч. П.*).

И как ни кажется это странным, в 1862 году Бакунин нечто вроде заботы о судьбе династии высказывал, пытался направить ее политику на правильный путь.

„Династия явно губит себя. Она видит спасение в пре-

кращении, а не в поощрении проснувшейся народной жизни, которая, если бы была понята, могла бы поднять царский дом на недосягаемую доселе высоту могущества и славы. Но где высота, там и бездна, и, непонятная, оскорбленная, разъяренная смешными попытками пигмеев удержать ее непреклонно логическое течение, та же народная жизнь может сбросить его со всеми его немецкими советниками, доморощенными доктринерами, со всею бюрократическою и полицейскою сволочью в бездонную пропасть... А жаль.

„Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль. Александр II мог бы так легко сделаться народным кумиром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью: свободою, благоденствием своего народа“...

Такова „соглашательская“ политика, которую вел Бакунин в 1862 году. Она свидетельствует, что у него не было еще ясных политических и социальных взглядов в описываемую эпоху. Он доживал последние проценты славянофильского капитала, банкротство которого ему не удалось пережить только лишь потому, что он был изъят из обращения и погребен в каменном мешке. Правда, в 1862 году он был куда более „реален“,—чем, например, в 1847 г. Стоит, напр., сопоставить его речь на польском банкете 1847 года в Париже, когда он уверял, что в России все: крестьяне, интеллигенция, массы, особенно гвардейские солдаты, готовы к немедленной революции, с тем осуждением,которое он произнес авторам прокламации „Молодая Россия“,—чтобы „прогресс“ увидеть значительный.

„Прокламация „Молодой России“ доказывает,—писал Бакунин,—что в некоторых молодых людях существует еще страшное самообольщение и совершенное непонимание нашего критического положения. Они кричат и решают, как будто бы за ними стоял целый народ. А народ-то еще по ту сторону пропасти и не только нас слушать не хочет, но даже готов побить нас по первому мановению царя. Что же,—мученичество? Да ведь мученичество хорошо, когда мученики делают дело. Редакторов „Молодой России“ я упрекаю в двух серьезных преступлениях: во-первых, в безумном и истинно доктринерском пренебрежении к народу, а во-вторых, в нецеремонном, бестактном и легкомысленном обращении с великим делом

освобождения, для успеха которого они, между тем, готовы жертвовать своей жизнью. Они, видно, так мало привыкли еще к настоящему действию, что им все кажется, будто они вращаются в мире абстракций. В теории все сходит с рук. На практике, особливо в такое время, как наше,—что не полезно, то вредно. Появление „Молодой России“ причинило положительный вред общему делу, и виновниками вреда были люди, желавшие служить ему. Без дисциплины, без строя, без скромности перед величием цели мы будем только тешить врагов наших и никогда не одержим победы“ [1]).

Столь суровый обвинительный акт, направленный против революционной молодежи, обличал в прокуроре изрядный запас благоразумия. Но запас этот, как и следовало ожидать, оказался растраченным весьма быстро.

XIV.

Причиной, выведшей Бакунина из состояния колеблющегося равновесия, было польское восстание. Оно сыграло в дальнейшей судьбе его огромную, поворотную роль. Под влиянием событий 1863 г. развеялась по ветру славянофильская его вера, народно-монархический уклон мировоззрения сделал крутой поворот. Старое беспокойство, безудержная ширь натуры, угасшая было вера в творческую мощь разрушения, революционная страсть—вновь заговорили властно в его душе. Ему стало казаться ясным до очевидности, что польское восстание—только начало, что следом за ним пылающим заревом займется народная революция в России, и Бакунин с головой бросился в польскую революцию.

„Кости были брошены“,—описывает в „Былом и Думах“ это время Герцен.

„Бакунин не слишком останавливался на взвешивании всех обстоятельств,—смотрел на одну дальнюю цель, и принял второй месяц беременности за девятый. Он хотел верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украйна восстанут, как один человек, услышав о Варшаве“.

Была задумана экспедиция в Швецию и Литву с целью поднять восстание в России.

---

[1]) „Народное дело“ (Пугачев, Романов или Пестель). Цит. по изд. Балашова, 1906 г. „Речи и воззвания“, стр. 67.

Герцен пробовал было умерить революционный пыл Бакунина. Пытался отрезвить его опьяненную фантазию, хотел раскрыть ему глаза на трудности и даже полную неосуществимость его планов. Но революционный темперамент Бакунина преодолевал все мыслимые препятствия и даже самого умеренного Герцена подчинил своему влиянию. Еще легче, чем Герцен, поддался его внушениям Огарев. Герцен видел, что Бакунин „запил революционный запой“ и что с ним не столкуешь теперь, он зашагал „семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения. За восстанием в Варшаве он уже видел свою славянскую славную федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением; он уже видел красное знамя „Земля и Воля“ развевающимся на Урале и Волге, на Украйне и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости, и торопился сгладить как-нибудь затруднения, затушевать противоречия, не заполнить овраги, а бросить через них чортов мост“.

Под влиянием неудач, новых разочарований, столкновений с действительностью начинает кристаллизоваться новое мировоззрение Бакунина. Он желал придать иной темп движению, не тот, к которому стремились Герцен и Огарев,—этого сделать не удалось, и он разошелся со своими друзьями. Ему стала внушать отвращение „шляхетская демократия“, готовая сыграть роль палача своего народа. Он решает отмежеваться от панславизма, и в письме Герцену из Стокгольма, которое мы уже цитировали, сообщает, что „не мешало бы как можно сильнее протестовать против имени панславистов“. В это как раз время он разрывает и с патриотизмом, произнося бесповоротное осуждение России.

„Да, я громко отрекаюсь от русского государственного, императорского патриотизма и буду радоваться разрушению Империи, откуда бы оно ни пришло“ [1]).

Эти слова не походили на сладкие славянофильско-народолюбивые речи, с которыми обращался он к Александру II. Истлевали и рушились уцелевшие обломки старых верований, а на их месте возникали новые взгляды, которые стяжали позднее Бакунину славу „апостола разрушения“.

---

[1]) Письмо 11/VIII 1863 г., из Стокгольма.

После подавления польского восстания и неудачной экспедиции в Швецию, Бакунину в Лондоне делать было нечего.

Отношения с лондонскими друзьями испортились. Новый опыт, поколебавший старую идеологическую постройку, требовал внутренней работы. Бакунин покидает Лондон и отправляется в Италию.

Около года спустя мы встречаем его, как организатора тайного международнаго братства, иначе—„Союза революционных социалистов".

Программа союза провозглашала атеизм, отрицала всякий авторитет и власть, объявляла уничтожение юридического права, требовала установления коллективной собственности и утверждала труд единственным основанием общественной организации, которая должна быть построена в виде вольной федерации снизу вверх.

Начинался анархический период деятельности Бакунина, но он выходит из пределов нашего очерка.

Вяч. Полонский.

Москва,
Февраль—март
1921.

ИСПОВЕДЬ БАКУНИНА.

Исповедь Бакунина.

На экземпляре, переписанном для Николая I, покрытая лаком пометка карандашом: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно» Пометка переписана на поляхъ чернилами и засвидетельствована ген.-лейт. Дуббельтом.

Ваше Императорское Величество

Всемилостивѣйшій Государь!

Когда меня везли изъ Австріи въ Россію, зная строгость русскихъ законовъ, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушаніе, не говоря ужъ о явномъ бунтѣ противу воли Вашего Императорскаго Величества,—зная также всю тяжесть моихъ преступленій, которыхъ не имѣлъ ни надежды, ни даже намѣренья утаить или умалить передъ судомъ,—я сказалъ себѣ, что мнѣ остается только одно: терпѣть до конца, и просилъ у Бога силы для того, чтобы выпить достойно и безъ подлой слабости горькую чашу, мною же самимъ уготованную.—Я зналъ, что лишенный дворянства, тому назадъ нѣсколько лѣтъ, приговоромъ Правительствующаго Сената и указомъ Вашего Императорскаго Величества, я могъ быть законно подверженъ тѣлесному наказанію, и, ожидая худшаго, надѣялся только на одну смерть, какъ на скорую избавительницу отъ всѣхъ мукъ и отъ всѣхъ испытаній.

Не могу выразить, Государь, какъ я былъ пораженъ, глубоко тронутъ благороднымъ, человѣческимъ, снисходительнымъ обхожденіемъ, встрѣтившимъ меня при самомъ моемъ въѣздѣ на русскую границу! Я ожидалъ другой встрѣчи. Что я увидѣлъ, услышалъ, все, что испыталъ въ продолженіи цѣлой дороги, отъ Царства Польскаго до Петропавловской крѣпости, было такъ противно моимъ боязненнымъ ожиданіямъ, стояло въ такомъ противурѣчіи со всѣмъ тѣмъ, что я самъ, по слухамъ, и думалъ и говорилъ и писалъ о жестокости Русскаго Правительства, что я, въ первый разъ усумнившись въ истинѣ прежнихъ понятій, спросилъ себя съ изумленіемъ: не клеветалъ ли я? Двухмѣсячное пребываніе въ Петропавловской крѣпости окончательно убѣдило меня въ совершенной неосновательности многихъ старыхъ предубѣжденій.

Не подумайте впрочемъ, Государь, чтобы я, поощряясь таковымъ человѣколюбивымъ обхожденьемъ, возымѣлъ какую-нибудь ложную или

суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законовъ не исключаетъ человѣколюбья, точно также какъ и обратно, что человѣколюбье не исключаетъ строгаго исполненья законовъ. Я знаю, сколь велики мои преступленья и, потерявъ право надѣяться, ничего не надѣюсь, —и сказать ли Вамъ правду, Государь, такъ постарѣлъ и отяжелѣлъ душою въ послѣдніе годы, что даже почти ничего не желаю.

Графъ Орловъ объявилъ мнѣ отъ имени Вашего Императорскаго Величества, что Вы желаете, Государь, чтобъ я Вамъ написалъ полную Исповѣдь всѣхъ своихъ прегрѣшеній.—Государь! Я не заслужилъ такой милости и краснѣю, вспомнивъ все, что дерзалъ говорить и писать о неумолимой строгости Вашего Императорскаго Величества.

Какъ же я буду писать? Что скажу я страшному Русскому Царю, грозному Блюстителю и Ревнителю законовъ? Исповѣдь моя Вамъ, какъ моему Государю, заключалась бы въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: Государь! я кругомъ виноватъ передъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ и передъ законами Отечества. Вы знаете мои преступленья, и то, что Вамъ извѣстно, достаточно для осужденья меня по законамъ на тягчайшую казнь, существующую въ Россіи. Я былъ въ явномъ бунтѣ противу Васъ, Государь, и противъ Вашего Правительства; дерзалъ противустать Вамъ какъ врагъ, писалъ, говорилъ, возмущалъ умы противъ Васъ, гдѣ и сколько могъ. Чего же болѣе? Велите судить и казнить меня, Государь; и судъ Вашъ и казнь Ваша будутъ законны и справедливы.—Чтожъ болѣе могъ бы я написать своему Государю?

Но Графъ Орловъ сказалъ мнѣ, отъ Имени Вашего Императорскаго Величества, слово, которое потрясло меня до глубины души и переворотило все сердце мое: „Пишите,—сказалъ онъ мнѣ,—пишите къ Государю, какъ бы вы говорили съ своимъ духовнымъ Отцемъ".

Да, Государь, буду исповѣдываться Вамъ какъ духовному Отцу, отъ котораго человѣкъ ожидаетъ не здѣсь, но для другого міра прощенья;— и прошу Бога, чтобы онъ мнѣ внушилъ слова простыя, искреннія, сердечныя, безъ ухищренія и лести, достойныя, однимъ словомъ, найти доступъ къ сердцу Вашего Императорскаго Величества.

Молю Васъ только о двухъ вещахъ, Государь! Во-первыхъ, не сомнѣвайтесь въ истинѣ словъ моихъ; клянусь Вамъ, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечетъ изъ пера моего. А во-вторыхъ, молю Васъ, Государь, не требуйте отъ меня, чтобы я Вамъ исповѣдывалъ чужіе грѣхи. Ведь на духу никто не открываетъ грѣхи другихъ, только свои [1]). Изъ совершеннаго кораблекрушенья, постигшаго меня, я спасъ только одно благо: честь и сознанье, что я для своего спасенья, или для облегченья своей участи, нигдѣ, ни

[1]) Подчеркнуто Николаемъ; на поляхъ его пометка карандашомъ: „Этимъ уже уничтожаетъ всякое довѣріе; ежели онъ чувствуетъ всю тяжесть своихъ грѣховъ, то одна чистая полная исповѣдь, а не условная, можетъ почестся исповѣдью". *Прим. ред.*

въ Саксоніи, ни въ Австріи, не былъ предателемъ. Противное же сознанье, что я измѣнилъ чьей-нибудь довѣренности или даже перенесъ слово сказанное при мнѣ по неосторожности, было бы для меня мучительнѣе самой пытки. И въ Вашихъ собственныхъ глазахъ, Государь, я хочу быть лучше преступникомъ, заслуживающимъ жесточайшей казни, чѣмъ подлецомъ.

И такъ я начну свою Исповѣдь.

Для того, чтобы она была совершенна, я долженъ сказать нѣсколько словъ о своей первой молодости.—Я учился три года въ Артиллерійскомъ Училищѣ, былъ произведенъ въ офицеры въ 19-мъ году отъ рожденья, а въ концѣ четвертаго [1]) своего ученья, бывши въ первомъ офицерскомъ классѣ, влюбился, сбился съ толку, пересталъ учиться, выдержалъ экзаменъ самымъ постыднымъ образомъ или лучше сказать совсѣмъ не выдержалъ его, а за это былъ отправленъ служить въ Литву съ опредѣленіемъ, чтобъ въ продолженьи трехъ лѣтъ меня обходили чиномъ и до подпорудчичьяго чина ни въ отставку, ни въ отпускъ не отпускали.— Такимъ образомъ моя служебная карьера испортилась въ самомъ началѣ, моею собственною виною и несмотря на истинно отеческое попеченье обо мнѣ Михаила Михайловича Кованьки, бывшаго тогда командиромъ Артиллерійскаго Училища.

Прослуживъ одинъ годъ въ Литвѣ, я вышелъ съ большимъ трудомъ въ отставку, совершенно противъ желанья отца моего. Оставивъ же военную службу, выучился по нѣмецки и бросился съ жадностью на изученье германской философіи, отъ которой ждалъ свѣта и спасенья. Одаренный пылкимъ воображеньемъ и, какъ говорятъ французы: d'une grande dose d'exaltation,—простите, Государь, не нахожу русскаго выраженья, я причинилъ много горя своему старику отцу, въ чемъ теперь отъ всей души, хотя и поздно, каюсь! Только одно могу сказать въ свое оправданье: мои тогдашнія глупости, а также и позднѣйшіе грѣхи и преступленья, были чужды всѣмъ низкимъ, своекорыстнымъ побужденьямъ; происходили же большею частью отъ ложныхъ понятій, но еще болѣе отъ сильной и никогда не удовлетворенной потребности знанья, жизни и дѣйствія.

Въ 1840-мъ году, въ двадцать же седьмомъ отъ рожденья, я съ трудомъ выпросился у своего отца за границу, для того чтобъ слушать курсъ наукъ въ Берлинскомъ университетѣ.—Въ Берлинѣ учился полтора года. Въ первомъ году моего пребыванія за границею и въ началѣ второго, я былъ еще чуждъ, равно какъ и прежде въ Россіи, всѣмъ политическимъ вопросамъ, которые даже презиралъ, смотря на нихъ съ высоты философской абстракціи; мое равнодушье къ нимъ простиралось такъ далеко, что я не хотѣлъ даже брать газетъ въ руки. Занимался же

[1]) В оригинале пропущено слово „года". *Прим. ред.*

науками, особенно германскою метафизикою, въ которую былъ погруженъ исключительно, почти до сумасшествія, и день и ночь, ничего другого не видя кромѣ категорій Гегеля.—Впротчемъ сама же Германія излѣчила меня отъ преобладавшей въ ней философской болѣзни; познакомившись поближе съ метафизическими вопросами, я довольно скоро убѣдился въ ничтожности и суетности всякой метафизики: я искалъ въ ней жизни, а въ ней смерть и скука, искалъ дѣла, а въ ней абсолютное бездѣлье. Немало къ сему открытью способствовало и личное знакомство съ нѣмецкими профессорами, ибо что можетъ быть уже, жальче, смѣшнѣе нѣмецкаго профессора, да и нѣмецкаго человѣка вообще! Кто узнаетъ короче нѣмецкую жизнь, тотъ не можетъ любить нѣмецкую науку; а нѣмецкая философія есть чистое произведенье нѣмецкой жизни, и занимаетъ между дѣйствительными науками то же самое мѣсто, какое сами Нѣмцы занимаютъ между живыми народами. Она мнѣ наконецъ опротивѣла, я пересталъ ею заниматься.—Такимъ образомъ излѣчившись отъ Германской Метафизики, я не излѣчился однако отъ жажды новаго, отъ желанья и надежды сыскать для себя въ Западной Европѣ благодарный предметъ для занятій и широкое поле для дѣйствія. Несчастная мысль не возвращаться въ Россію уже начинала мелькать въ умѣ моемъ: я оставилъ философію и бросился въ Политику.

Находясь въ семъ переходномъ состояніи, я переселился изъ Берлина въ Дрезденъ; сталъ читать политическіе журналы.—Со вступленьемъ на престолъ нынѣ царствующаго Прусскаго Короля, Германія приняла новое направленье: Король своими рѣчами, обѣщаньями, нововведеньями, взволновалъ, привелъ въ движенье не только Пруссію, но и всѣ протчія нѣмецкія земли; такъ что Dr. Ruge не безъ основанья прозвалъ его первымъ Германскимъ революціонеромъ,—простите, Государь, что я выражаюсь такъ смѣло, говоря о вѣнценосной особѣ.—Тогда появилось въ Германіи множество брошюръ, журналовъ, политическихъ стихотвореній,—и я читалъ все съ жадностью. Въ это же время въ первый разъ услышалось слово о Коммунизмѣ; вышла книга: «Die Socialisten in Frankreich» доктора Stein, произведшая почти такое же сильное и общее впечатлѣнье, какъ прежде книга Доктора Strauss «Das Leben Jesu», а мнѣ открывшая новый міръ, въ который я бросился со всею пылкостью алчущаго и жаждущаго. Мнѣ казалось, что я слышу возвѣщенье новой благодати, откровенье новой религіи возвышенья, достоинства, счастья, освобожденья всего человѣческаго рода; я сталъ читать сочиненья французскихъ демократовъ и соціалистовъ, и проглотилъ все, что могъ только достать въ Дрезденѣ.—Познакомившись вскорѣ съ Dr. Arnold Ruge, издававшимъ тогда „Die deutsche Jahrbücher", журналъ, находившійся въ это время почти въ такомъ же переходѣ изъ философіи въ политику, я написалъ для него философски-революціонерную статью подъ заглавіемъ «Die Parteien in Deutschland», подъ псевдонимомъ Jules Elyzard; и такъ несчаст-

лива и тяжела была рука моя съ самаго началу, что лишь только появилась эта статья, то и самый журналъ запретили.—Это было въ концѣ 1842-го года.

Тогда пріѣхалъ изъ Швейцаріи въ Дрезденъ политическій поэтъ Georg Herwegh, носимый на рукахъ цѣлой Германіи и принятый съ почестью самимъ Прусскимъ Королемъ, изгнавшимъ его вскорѣ потомъ изъ своихъ владѣній. Оставляя въ сторонѣ политическое направленье Гервега, о которомъ не смѣю говорить передъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, я долженъ сказать, что онъ человѣкъ чистый, истинно благородный, съ душою широкою, что рѣдко бываетъ у Нѣмца,—человѣкъ, ищущій истины, а не своей корысти и пользы. Я съ нимъ познакомился, подружился и остался съ нимъ до конца въ дружеской связи.—Вышеупомянутая статья въ «Deutsche Jahrbücher», знакомство съ Руге и съ его кружкомъ, особенно же моя дружеская связь съ Гервегомъ, который громко называлъ себя республиканцемъ, впротчемъ связь еще не политическая, хотя и основанная на сходствѣ мыслей, потребностей и направленій,—не политическая же потому что не имѣла рѣшительно никакой положительной цѣли,—все это обратило на меня вниманье Посольства въ Дрезденѣ. Я услышалъ, что будто бы ужъ начали говорить о необходимости вернуть меня въ Россію; но возвращенье въ Россію мнѣ казалось смертью! Въ Западной Европѣ передъ мной открывался горизонтъ безконечный, я чаялъ жизни, чудесъ, широкаго раздолья; въ Россіи же видѣлъ тьму, нравственный холодъ, оцѣпенѣнье, бездѣйствіе,—и рѣшился оторваться отъ родины. Всѣ мои послѣдовавшіе грѣхи и несчастья произошли отъ этого легкомысленнаго шагу. Herwegh долженъ былъ оставить Германію, я отправился съ нимъ вмѣстѣ въ Швейцарію,—если бы онъ ѣхалъ въ Америку, я и туда поѣхалъ бы съ нимъ,—и поселился въ Цюрихѣ, въ Генварѣ 1843 го года.

Равно какъ въ Берлинѣ я понемногу сталъ излѣчаться отъ своей философской болѣзни, такъ въ Швейцаріи начались мои политическія разочарованья. Но такъ какъ политическая немощь тяжелѣе, вреднѣе, глубже вкореняется въ душу, чѣмъ философская, то и для излѣченья отъ нее требовалось болѣе времени, болѣе горькихъ опытовъ; она привела меня въ то незавидное положенье, въ которомъ нынѣ обретаюсь, да и теперь еще самъ не знаю, выздоровѣлъ ли я отъ нее совершенно?— Я не смѣю занимать вниманье Вашего Императорскаго Величества описаньемъ внутренней Швейцарской политики; по моему мнѣнью она можетъ быть выражена двумя словами: грязная сплетня. Большая часть Швейцарскихъ журналовъ находится въ рукахъ нѣмецкихъ переселенцевъ,—я говорю здѣсь только о нѣмецкой Швейцаріи,—а Нѣмцы вообще до такой степени лишены общественнаго такту, что всякая полемика въ ихъ рукахъ обыкновѣнно обращается въ грязную брань, въ которой мелкимъ и гнуснымъ личностямъ нѣтъ конца. Въ Цюрихѣ я познакомился

съ знакомыми и пріятелями Гервега, которые мнѣ впрочемъ такъ мало понравились, что въ продолженьи всего времини, проведеннаго мною въ семъ городѣ, я избѣгалъ частой встрѣчи съ ними и только съ однимъ Гервегомъ находился въ близкой связи. Тогда управлялъ Цюрихскою республикою Staatsrath Bluntschli, глава консервативной партіи; журналъ его «Der Schweizerische Beobachter» велъ жестокую брань съ органомъ демократической партіи «Der Schweizerische Republikaner», издаваемымъ Юліусомъ Фребель, знакомымъ и даже пріятелемъ Гервега. Не смѣю также говорить о предметѣ ихъ тогдашняго спора; въ немъ слишкомъ много грязи. Это не былъ чисто политическій споръ, какъ случается иногда между враждующими партіями въ другихъ Государствахъ; въ немъ участвовали также и религіозные шарлатаны, пророки, Мессіи, вмѣстѣ же и благородные рыцари вольнаго пропитанья, просто воры и даже непотребныя женщины, которыя сидѣли потомъ на одной скамьѣ съ Господиномъ Bluntschli, какъ свидѣтельницы и какъ обвиненныя, въ публичномъ процессѣ, окончившемъ сію скандалезную брань. Bluntschli и его пріятели братья Rhomer, одинъ называвшій себя Мессіею и другой пророкомъ, были осуждены и острамлены, вмѣстѣ съ сими дамами. Демократы торжествовали, хотя впрочемъ и сами вышли изъ постыднаго дѣла не безъ стыда; а Bluntschli, для того чтобы отмстить имъ, а вѣроятно также повинуясь требованью Прусскаго Правительства, изгналъ совершенно невиннаго Гервега изъ Цюрихскаго Кантона.

Я же жилъ въ сторонѣ отъ всѣхъ дрязгъ, рѣдко кого видя, кромѣ Гервега; не былъ знакомъ ни съ Господиномъ Bluntschli, ни съ его пріятелями; читалъ, учился и думалъ о средствахъ честнымъ образомъ снискать себѣ пропитанье, ибо изъ дому не получалъ болѣе денегъ. Но Bluntschli, вѣроятно узнавъ о моей дружеской связи съ Гервегомъ,—чего не знаютъ въ маленькомъ городкѣ,—а можетъ быть и для того, чтобы выслужиться передъ Русскимъ Правительствомъ, захотѣлъ запутать и меня, къ чему ему представился скоро слѣдующій удобный случай:

Гервегъ, находясь уже въ Арговійскомъ кантонѣ, прислалъ ко мнѣ, съ рекомендательною запискою, коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь изъ Лозанны въ Цюрихъ, на дорогѣ зашелъ къ нему, для того чтобъ съ нимъ познакомиться; Гервегъ же, зная, какъ меня интересовали тогда соціальные вопросы, рекомендовалъ его мнѣ. Я былъ радъ этому случаю узнать изъ живаго источника о коммунизмѣ, начинавшемъ тогда ужъ обращать на себя общее вниманье. Вейтлингъ мнѣ понравился; онъ человѣкъ необразованный, но я нашелъ въ немъ много природной смѣтливости, умъ быстрый, много энергіи, особенно же много дикаго фанатизму, благородной гордости и вѣры въ освобожденье и будущность порабощеннаго большинства. Онъ впрочемъ не долго сохранилъ сіи качества, испортившись скоро потомъ въ обществѣ коммунистовъ-литераторовъ; — но тогда онъ пришелся мнѣ очень по сердцу; я

такъ былъ прекормленъ приторною бѣседою мелко-характерныхъ нѣмецкихъ профессоровъ и литераторовъ, что радъ былъ встрѣтить человѣка свѣжаго, простого и необразованнаго, но энергическаго и вѣрующаго. Я просилъ его посѣщать меня; онъ приходилъ ко мнѣ довольно часто, излагая мнѣ свою теорію и разсказывая много о французскихъ коммунистахъ, о жизни работниковъ вообще, о ихъ трудахъ, надеждахъ, увеселеньяхъ, а также и о нѣмецкихъ только что начинавшихся коммунистическихъ обществахъ. Противъ теоріи его я спорилъ, факты же выслушивалъ съ большимъ любопытствомъ: тѣмъ ограничились мои отношенья съ Вейтлингомъ. Другой связи у меня ни съ нимъ, ни съ другими коммунистами ни въ это время, ни потомъ рѣшительно не было, и я самъ никогда не былъ коммунистомъ.

Я остановлюсь здѣсь, Государь, и войду нѣсколько глубже въ этотъ предметъ, зная, что неоднократно былъ обвиненъ передъ Правительствомъ въ дѣятельномъ сообществѣ съ коммунистами, сначала черезъ Господина Bluntschli, потомъ же вѣроятно и другими. Я хочу одинъ разъ навсегда очиститься отъ несправедливыхъ обвиненій; на мнѣ ужъ такъ много, такъ много тяжкихъ грѣховъ, зачѣмъ же мнѣ брать еще на себя грѣхи, въ которыхъ рѣшительно не былъ повиненъ! — Я зналъ въ послѣдствіи многихъ Французскихъ, Нѣмецкихъ, Бельгійскихъ и Англійскихъ соціалистовъ и коммунистовъ, читалъ ихъ сочиненья, изучалъ ихъ теоріи, но самъ не принадлежалъ никогда ни къ какой сектѣ, ни къ какому обществу и рѣшительно оставался чуждъ ихъ предпріятьямъ, ихъ пропагандѣ и дѣйствіямъ. Я слѣдовалъ съ постояннымъ вниманьемъ за движеньемъ соціализма, особенно же коммунизма, ибо смотрѣлъ на него какъ на естественный, необходимый, неотвратимый результатъ экономическаго и политическаго развитья Западной Европы [1]); видѣлъ въ немъ юную, элементарную, себя еще не знающую силу, призванную или обновить или разрушить въ конецъ западныя Государства.—Общественный порядокъ, общественное устройство сгнили на Западѣ и едва держатся болѣзненнымъ усильемъ; симъ однимъ могутъ объясниться и та невѣроятная слабость и тотъ паническій страхъ, которые въ 1848-мъ году постигли всѣ Государства на Западѣ, исключая Англіи; но и ту кажется постигнетъ въ скоромъ времени та же самая участь. В ъ З а п а д н о й [2]) Е в р о п ѣ, куда не обернешься, вездѣ видишь дряхлость, слабость, безвѣрье и развратъ, развратъ, происходящій отъ безвѣрья; начиная съ самаго верху общественной лѣстницы, ни одинъ человѣкъ, ни одинъ привилегированный классъ не имѣетъ вѣры въ свое призванье и право;

---

[1]) Я говорю только о Западной Европѣ, потому что на Востокѣ и ни въ одной Славянской землѣ,—развѣ только кромѣ Богеміи и отчасти Моравіи и Шлезіи,—коммунизмъ не имѣетъ ни мѣста, ни смысла.

[2]) Подчеркнуто Николаемъ I. На поляхъ пометка: „Разительная истина“. *Прим. ред.*

всѣ шарлатанятъ другъ передъ другомъ и ни одинъ другому, ниже себѣ самому не вѣритъ: привилегіи, классы и власти едва держутся эгоизмомъ и привычкою, — слабая препона противъ возрастающей бури! Образованность сдѣлалась тождественна съ развратомъ ума и сердца, тождественна съ безсильемъ! И посреди сего всеобщаго гніенья одинъ только грубый, непросвѣщенный народъ, называемый чернью, сохранилъ въ себѣ свѣжесть и силу, не такъ впрочемъ въ Германіи, какъ во Франціи. Кромѣ этого, всѣ доводы и аргументы, служившіе сначала Аристократіи противъ Монархіи, а потомъ среднему сословію противъ Монархіи и Аристократіи, нынѣ служатъ, и чуть ли еще не съ большею силою, народнымъ массамъ противъ Монархіи, Аристократіи и Мѣщанства.—Вотъ въ чемъ состоитъ, по моему мнѣнью, сущность и сила коммунизма, не говоря о возрастающей бѣдности рабочаго класса, естественнаго послѣдствія умноженья пролетарьята, умноженья, въ свою очередь необходимо связаннаго съ развитіемъ фабричной индустріи такъ, какъ она существуетъ на Западѣ. Коммунизмъ по крайнѣй мѣрѣ столько же произошелъ и происходитъ съ верху, сколько и съ низу; въ низу, въ народныхъ массахъ, онъ растетъ и живетъ, какъ потребность не ясная, но энергическая, какъ инстинктъ возвышенья; въ верхнихъ же классахъ, какъ развратъ, какъ эгоизмъ, какъ инстинктъ угрожающей заслуженной бѣды, какъ неопредѣленный и безпомощный страхъ, слѣдствіе дряхлости и нечистой совѣсти; и страхъ сей и безпрестанный крикъ противъ коммунизма чуть ли не болѣе способствовали къ распространенью послѣдняго, чѣмъ самая пропаганда коммунистовъ [1]. Мнѣ кажется, что этотъ неопредѣленный, невидимый, неосязаемый, но вездѣ присутствующій коммунизмъ, живущій, въ томъ или другомъ видѣ, во всѣхъ безъ исключенья, въ тысячу разъ опаснѣе того опредѣленнаго и приведеннаго въ систему, который проповѣдуется только въ немногихъ организированныхъ тайныхъ или явныхъ коммунистическихъ обществахъ [2]. Безсилье послѣднихъ явно оказалось въ 1848-мъ году въ Англіи, во Франціи, въ Бельгіи, а особливо въ Германіи; и нѣтъ ничего легче какъ отыскать нелѣпость, противурѣчье и невозможность въ каждой доселѣ извѣстной соціальной теоріи, такъ что ни одна не въ состояньи выдержать даже трехъ дней существованья.

Простите, Государь, сіе краткое разсужденье; но мои прегрѣшенья такъ тѣсно связаны съ моими грѣшными мыслями, что я не могу исповѣдывать однихъ, совершенно не упомянувъ о другихъ. Я долженъ былъ показать, почему я не могъ принадлежать ни къ одной сектѣ соціалистовъ или коммунистовъ, какъ меня въ томъ несправедливо обвиняли.

---

[1] Брошюра Bluntschli, напр., изданная имъ въ 1843-мъ году отъ имени Цюрихскаго Правительства, по случаю процесса Вейтлинга, была, вмѣстѣ съ упомянутою книгою Штейна, одною изъ главныхъ причинъ распространенья коммунизма въ Германіи.

[2] Пометка Николая: „Правда“. *Прим. ред.*

Разумѣя причину существованья сихъ сектъ, я не любилъ ихъ теорій; не раздѣляя же послѣднихъ, не могъ быть органомъ ихъ пропаганды; а наконецъ и слишкомъ цѣнилъ свою независимость для того, чтобъ согласиться быть рабомъ и слѣпымъ орудьемъ какого бы то не было тайнаго общества, не говоря ужъ о такомъ, котораго я не могъ раздѣлять мнѣній.—Въ это же время, т.-е. въ 1843-мъ году, коммунизмъ въ Швейцаріи состоялъ изъ малаго числа нѣмецкихъ работниковъ; въ Лозаннѣ и Женевѣ явно, въ видѣ обществъ для пѣнья, чтенья и для общаго хозяйства, въ Цюрихѣ же состоялъ изъ пяти или шести портныхъ и сапожниковъ. Между Швейцарами коммунистовъ не было: природа Швейцаръ противна всякому коммунизму, а нѣмецкій коммунизмъ былъ тогда еще въ пеленкахъ. Но для того, чтобъ придать себѣ важность въ глазахъ Правителей Европы, отчасти же въ тщетной надеждѣ скомпрометировать Цюрихскихъ радикаловъ, Bluntschli составилъ фантастическаго страшилу. Онъ, по собственному признанью, зналъ о приходѣ Вейтлинга въ Цюрихъ; терпѣлъ его присутствіе два или три мѣсяца, потомъ велѣлъ схватить его, надѣясь найти въ его бумагахъ довольно важныхъ документовъ для того, чтобъ замѣшать Цюрихскихъ радикаловъ, и ничего не нашелъ, кромѣ глупой переписки и сплетней [1],—а противъ меня два или три письма Вейтлинга, въ которыхъ онъ говоритъ обо мнѣ нѣсколько незначительныхъ словъ, извѣщая въ одномъ своего пріятеля, что онъ познакомился съ однимъ Русскимъ и называя меня по фамиліи, въ другомъ же, называя меня «der Russe», съ прибавленіемъ: «der Russe ist ein guter или ein prächtiger Kerl» и тому подобное. Вотъ на чемъ были основаны обвиненья Господина Bluntschli противъ меня; другого же основанья и быть не могло, ибо мое знакомство съ Вейтлингомъ ограничилось однимъ любопытствомъ съ моей и охотой разсказывать съ его стороны; а кромѣ Вейтлинга я ни одного коммуниста въ Цюрихѣ не зналъ. — Услышавъ однако жъ, не знаю, справедливъ ли былъ этотъ слухъ или нѣтъ, что Bluntschli имѣлъ даже намѣренье арестовать меня, и опасаясь послѣдствій, я удалился изъ Цюриха. — Жилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ городкѣ Nyon на берегу Женевскаго озера, въ совершенномъ уединеньи и борясь съ нищетою, а потомъ въ Бернѣ, гдѣ и узналъ въ Генварѣ или въ Февралѣ 1844-го года, отъ Господина Струве, Секретаря Посольства въ Швейцаріи, что оное, получивъ доносъ противъ меня отъ Bluntschli, пи-

---

[1] Въ доказательство, что всѣ обвиненья, заключенья, догадки Господина Bluntschli и все на нихъ основанное зданье были суетны и ложны, я приведу только одно: Вейтлингъ былъ осужденъ приговоромъ Верховнаго Суда на годовое или двухгодовое содержанье въ тюрьмѣ, и не за коммунизмъ, а за глупую книгу *), напечатанную имъ не за долго передъ тѣмъ въ Цюрихѣ. Немедленно по произнесенью приговора Bluntschli посадилъ Вейтлинга не въ тюрьму, а выдалъ его Прусскому Правительству, которое, разсмотрѣвъ дѣло, черезъ мѣсяцъ выпустило Вейтлинга на свободу.

*) Речь идет об „Евангелии бедного грешника". Бакунин ошибается. Вейтлинга обвинили в богохульстве не за самую книгу, которая еще не была напечатана, а лишь за напечатание подробного объявления о скором выходе этой книги. *Прим. ред.*

сало о томъ въ Петербургѣ, откуда и ждало приказаній.—Въ этомъ доносѣ, по сказанью Господина Струве, Bluntschli, не довольствуясь обвиненьемъ меня въ коммунизмѣ, утверждалъ еще ложно, что будто бы я писалъ или сбирался писать, противъ Русскаго Правительства, книгу о Россіи и Польшѣ.

Для обвиненья меня въ коммунизмѣ была хоть тѣнь правдоподобія: мое знакомство съ Вейтлингомъ; но послѣднее обвиненье было рѣшительно лишено всякаго основанья и доказало мнѣ ясно злое намѣренье Bluntschli; ибо не только что у меня еще тогда и въ мыслѣ не было писать или печатать что объ Россіи, но я старался даже не думать объ ней, потому что память о ней меня мучила; умъ же мой былъ исключительно устремленъ на Западную Европу. Чтожъ касается до Польши, то могу сказать, что въ это время я даже не помнилъ о ее существованьи: въ Берлинѣ избѣгалъ знакомства съ Поляками, видѣлся съ нѣкоторыми только въ Университетѣ; въ Дрезденѣ же и въ Швейцаріи ни одного Поляка не видѣлъ.

До 1844-го года, Государь, мои грѣхи были грѣхи внутренніе, умственные, а не практическіе: я съѣлъ не одинъ, а много плодовъ отъ запрещеннаго древа познанья добра и зла,—великій грѣхъ, источникъ и начало всѣхъ послѣдовавшихъ преступленій, но еще не опредѣлившійся тогда ни въ какое дѣйствіе, ни въ какое намѣренье. По мыслямъ, по направленью, я былъ ужъ совершеннымъ и отчаяннымъ демократомъ, а въ жизнѣ не опытенъ, глупъ и почти невиненъ какъ дитя.—Отказавшись ѣхать въ Россію, на повелительный зовъ Правительства, я совершилъ свое первое положительное преступленье.

Въ слѣдствіе этого я оставилъ Швейцарію и отправился въ Бельгію, въ обществѣ моего друга Рейхеля. Я долженъ сказать о немъ нѣсколько словъ, ибо имя его упоминается довольно часто въ обвинительныхъ документахъ: Adolph Reichel прусскій подданный, компонистъ и піанистъ, чуждъ всякой политики, а если и слышалъ объ ней, такъ развѣ только черезъ меня. Познакомившись съ нимъ въ Дрезденѣ и встрѣтившись потомъ опять въ Швейцаріи, я съ нимъ сблизился, подружился; онъ мнѣ былъ постоянно истиннымъ и единственнымъ другомъ; я жилъ съ нимъ неразлучно, иногда даже и на его счетъ, до самаго 1848-го года.—Когда я былъ принужденъ оставить Швейцарію, не захотѣвъ меня оставить, онъ поѣхалъ со мной въ Бельгію.

Въ Брюсселѣ я познакомился съ Лелевелемъ. Тутъ въ первый разъ мысль моя обратилась къ Россіи и къ Польшѣ; бывши тогда ужъ совершеннымъ демократомъ, я сталъ смотрѣть на нихъ демократическимъ глазомъ, хотя еще не ясно и очень неопредѣленно: національное чувство, пробудившееся во мнѣ отъ долгаго сна, въ слѣдствіе тренья съ Польскою Національностью, пришло въ борьбу съ демократическими понятьями и выводами.—Съ Лелевелемъ я видѣлся часто, разспрашивалъ много о Польской революціи, о ихъ намѣреньяхъ, планахъ въ случаѣ

побѣды, о ихъ надеждахъ на будущее время,—и не разъ спорилъ съ нимъ, особенно же на счетъ Малороссіи и Бѣлоруссіи, которыя по ихъ понятьямъ должны бы были принадлежать Польшѣ, по моимъ же, особенно Малороссія, должны были ненавидѣть ее, какъ древнюю притѣснительницу.—Впротчемъ, изъ всѣхъ Поляковъ, пребывавшихъ тогда въ Брюсселѣ, зналъ и видѣлъ я только одного Лелевеля, да и съ нимъ отношенья мои, хоть мы и часто видѣлись, никогда не выходили изъ границъ простого знакомства. Правда, что я перевелъ было на русскій языкъ тотъ Манифестъ къ Русскимъ, за который онъ былъ изгнанъ изъ Парижа; но это было безъ послѣдствій: переводъ остался ненапечатанный въ моихъ бумагахъ.

Пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Брюсселѣ, я отправился съ Рейхелемъ въ Парижъ, отъ котораго, равно какъ и прежде отъ Берлина, и потомъ отъ Швейцаріи, ждалъ теперь себѣ спасенья и свѣта.—Это въ Іюлѣ 1844-го года.

Парижъ подѣйствовалъ на меня съ начала какъ ушатъ холодной воды на горячешнаго; нигдѣ я не чувствовалъ себя до такой степени уединеннымъ, отчужденнымъ, дезоріентированнымъ,—простите это выраженье, Государь,—какъ въ Парижѣ. Общество мое въ первое время почти исключительно состояло изъ Нѣмцевъ демократовъ, или изгнанныхъ или самовольно пріѣхавшихъ изъ Германіи, для того, чтобъ основать здѣсь демократическій Французско-Нѣмецкій журналъ, съ цѣлью привести въ согласье и связь духовные и политическіе интересы обоихъ народовъ. Но такъ какъ Нѣмецкіе литераторы не могутъ жить между собою безъ ссоръ, брани и сплетней, то и все предпріятье, возвѣщенное съ большимъ шумомъ, кануло въ воду, окончившись несчастнымъ и подлымъ еженедѣльнымъ листомъ «Vorwärts», который также прожилъ не долго, потонувъ скоро въ своей собственной грязи; да и самихъ Нѣмцевъ выгнали изъ Парижа, къ моему не малому облегченью.

Въ это время, т.-е. въ концѣ осени 1844-го года, я въ первый разъ услышалъ о приговорѣ, осудившемъ меня вмѣстѣ съ Иваномъ Головинымъ на лишенье дворянства и на каторжную работу; услышалъ же не офиціально, но отъ знакомаго, кажется, отъ самого Головина, который по этому случаю написалъ и статью въ «Gazette des tribunaux» о мнимыхъ правахъ русской аристократіи, будто бы оскорбленныхъ и попранныхъ въ нашемъ лицѣ; ему же въ отвѣтъ и въ опроверженье я написалъ другую статью въ демократическомъ журналѣ «Réforme», въ видѣ письма къ редактору.—Это письмо, первое слово, сказанное мною печатнымъ образомъ о Россіи, было моимъ вторымъ положительнымъ преступленьемъ. Оно явилось въ журналѣ «Réforme» съ моею подписью, въ концѣ 1844-го года, не помню какого мѣсяца, и находится безъ сомнѣнья въ рукахъ Правительства въ числѣ обвинительныхъ документовъ.

По отъѣздѣ моемъ изъ Брюсселя я не видалъ ни одного Поляка до самаго этого времени. Моя статья въ «Réforme» была поводомъ къ но-

вому знакомству съ нѣкоторыми изъ нихъ. Во-первыхъ, пригласилъ меня къ себѣ князь Адамъ Чарторыжскій черезъ одного изъ своихъ приверженцевъ; я былъ у него одинъ разъ и послѣ этого никогда съ нимъ болѣе не видался. Потомъ получилъ изъ Лондона поздравительное письмо съ комплиментами отъ Польскихъ демократовъ, съ приглашеньемъ на траурное торжество, совершаемое ими ежегодно въ память Рылѣева, Пестеля и протч. Я отвѣчалъ имъ подобными же комплиментами, благодарилъ за братскую симпатію, а въ Лондонъ не поѣхалъ, ибо не опредѣлилъ еще въ своемъ умѣ то отношенье, въ которомъ я, хоть и демократъ, но все-таки Русскій, долженъ былъ стоять къ польской эмиграціи, да и къ западной публикѣ вообще; опасался же еще громкихъ, пустыхъ и безполѣзныхъ демонстрацій и фразъ, до которыхъ никогда не былъ я большой охотникъ. Тѣмъ кончились на этотъ разъ мои отношенья съ Поляками, и до самой весны 1846-го года я не видѣлся болѣе ни съ однимъ, исключая Алоиза Біернацкаго (занимавшаго мѣсто министра финансовъ во время польской революціи), добраго, почтеннаго старика, съ которымъ я познакомился у Николая Ивановича Тургенева и который, живя въ далекѣ отъ всѣхъ политическихъ эмиграціонныхъ партій, занимался исключительно своею польскою школою. Также видѣлъ иногда и Мицкевича, котораго уважалъ въ прошедшемъ, какъ великаго Славянскаго поэта, но о которомъ жалѣлъ въ настоящемъ, какъ о полуобманутомъ, полуже-обнывающемъ апостолѣ и пророкѣ новой нелѣпой религіи и новаго Мессіи. Мицкевичъ старался обратить меня, потому что по его мнѣнью достаточно было, чтобъ одинъ Полякъ, одинъ Русскій, одинъ Чехъ, одинъ Французъ и одинъ Жидъ согласились жить и дѣйствовать вмѣстѣ въ духѣ Товянскаго для того, чтобъ переворотить и спасти міръ; Поляковъ у него было довольно, и Чехи были, также были Жиды и Французы. Русскаго только не доставало; онъ хотѣлъ завербовать меня, но не могъ.

Между французами у меня были слѣдующіе знакомые. Изъ конституціонной партіи: Chambolle, rédacteur du „Siecle", Merrucau, gérant du „Constitutionnel", Emile Girardin, rédacteur de la „Presse", Durieux, rédacteur du „Courier Français", Léon Faucher, Frédéric Bastiat и Wolowsky, économiste и протч. Изъ партіи политическихъ республиканцевъ: Béranger, Lamenais, François, Etienne и Emanuel Arago, Marrast et Bastide, rédacteur du „National"; изъ партіи демократовъ: покойный Cavaignac, братъ генерала, Flocon и Louis Blanc, rédacteur de la „Réforme", Victor Considérant, fourieriste et rédacteur de la «Démocratie Pacifique», Pascal Dupart, rédacteur de la „Revue Indépendante", Felix Piat, Victor Schölöner, le négrophile, Michelet et Quinet, professeur, Proudon, utopiste— и несмотря на то безъ всякаго сомнѣнья одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ современныхъ Французовъ, наконецъ, George Sand, да еще нѣсколько другихъ менѣе извѣстныхъ.—Съ одними видѣлся рѣже, съ другими чаще, не находясь ни съ однимъ въ близкихъ отношеньяхъ. Посѣтилъ также

нѣсколько разъ, въ самомъ началѣ моего пребыванья въ Парижѣ, французскихъ увріеровъ: общество коммунистовъ и соціалистовъ, не имѣя впротчемъ къ тому никакого другого побужденья, ни цѣли кромѣ любопытства; но скоро пересталъ ходить къ нимъ, во первыхъ для того, чтобъ не обратить на себя вниманье Французскаго Правительства и не навлечь на себя напраснаго гоненья, а главное потому, что не находилъ въ посѣщеньи сихъ обществъ ни малѣйшей для себя пользы.—Чаще же всѣхъ бывалъ,—не говоря о Рейхелѣ, съ которымъ жилъ безразлучно,—бывалъ чаще у своего стараго пріятеля Гервега, переселившагося также въ Парижъ и занимавшагося въ это время почти исключительно естественными науками; и у Николая Ивановича Тургенева; послѣдній живетъ семейно, далеко отъ всего политическаго движенья и можно сказать отъ всякаго общества и, сколько я могъ по крайнѣй мѣрѣ замѣтить, ничего такъ горячо не желаетъ, какъ прощенья и позволѣнья возвратиться въ Россію для того, чтобъ прожить послѣдніе годы на родинѣ, о которой вспоминаетъ съ любовью, не рѣдко со слезами. У него я встрѣчалъ иногда Итальянца Графа Mammiani, бывшаго потомъ папскимъ министромъ въ Римѣ, и неаполитанскаго генерала Pépé.

Видѣлъ также иногда и Русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ. Но молю Васъ, Государь, не требуйте отъ меня имянъ. Увѣряю Васъ только —и вспомните, Государь, что въ началѣ письма я Вамъ клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не осквернитъ чистоты моей сердечной исповѣди,—и теперь клянусь Вамъ, что ни съ однимъ Русскимъ, ни тогда, ни потомъ, я не находился въ политическихъ отношеніяхъ и не имѣлъ ни съ однимъ даже и тѣни политической связи ни лицемъ къ лицу, ни черезъ третьяго человѣка, ни перепискою. Русскіе пріѣзжіе и я жили въ совершенно различныхъ сферахъ: они богато, весело, задавая другъ другу пиры, завтраки и обѣды, кутили, пили, ходили по театрамъ и баламъ avec grisettes et lorettes,—образъ жизни, къ которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, а еще менѣе средствъ. Я же жилъ въ бѣдности, въ болѣзненной борьбѣ съ обстоятельствами и съ своими внутренними никогда не удовлетворенными потребностями жизни и дѣйствія и не раздѣлялъ съ ними ни ихъ увеселеній, ни своихъ трудовъ и занятій. Я не говорю, чтобъ я не пробовалъ никогда,—а именно начиная отъ 1846 года,—обратить нѣкоторыхъ къ своимъ мыслямъ и къ тому, что я называлъ и считалъ тогда добрымъ дѣломъ; но ни одна попытка моя не имѣла успѣха: они слушали меня съ усмѣшкою, называли меня чудакомъ, такъ что послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ усилій я совсѣмъ отказался отъ ихъ обращенья. Вся вина нѣкоторыхъ состояла въ томъ, что, видя мою нищету, они мнѣ иногда и то весьма изрѣдка помогали.

Я жилъ большею частью дома, занимаясь отчасти переводами съ нѣмецкаго для своего пропитанья, отчасти же науками: исторіею, статистикой, политическою экономіею, соціально-экономическими система-

ми, спекулятивною политикою, т.-е. политикою безъ всякаго примѣненья, а также нѣсколько и математикою и естественными науками. Тутъ долженъ я сдѣлать одно замѣчанье къ своей собственной чести: парижскіе, а также и нѣмецкіе книгопродавцы неоднократно уговаривали меня писать объ Россіи, предлагая мнѣ довольно выгодныя условья; но я всегда отказывался, не хотя дѣлать изъ Россіи предметъ торгово-литературной сдѣлки; я никогда не писалъ объ Россіи за деньги, и неиначе qu'à mon corps défendant, могу сказать съ неохотою, почти противъ воли и всегда подъ своимъ собственнымъ имянемъ.—Кромѣ вышеупомянутой статьи въ «Réforme», да еще другой статьи въ «Constitutionnel», да той несчастной рѣчи, за которую былъ изгнанъ изъ Парижа, я о Россіи не напечаталъ ни слова. Я не говорю здѣсь о томъ, что писалъ послѣ Февраля 1848 года, находясь уже тогда въ опредѣленной политической дѣятельности; впротчемъ и тутъ мои публикаціи ограничиваются двумя воззваньями и нѣсколькими журнальными статьями.

Тяжело, очень тяжело мнѣ было жить в Парижѣ, Государь! не столько по бѣдности, которую я переносилъ довольно равнодушно, какъ потому, что, пробудившись наконецъ отъ юношескаго бреду и отъ юношескихъ фантастическихъ ожиданій, я обрелъ себя вдругъ на чужой сторонѣ, въ холодной нравственной атмосферѣ, безъ родныхъ, безъ семейства, безъ круга дѣйствія, безъ дѣла и безъ всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись отъ родины и заградивъ себѣ легкомысленно всякій путь къ возвращенью, я не умѣлъ сдѣлаться ни Нѣмцомъ, ни Французомъ; напротивъ чѣмъ долѣе жилъ за границею, тѣмъ глубже чувствовалъ, что я Русскій и что никогда не перестану быть Русскимъ. Къ русской же жизни не могъ иначе возвратиться какъ преступнымъ революціонернымъ путемъ, въ который тогда еще плохо вѣрилъ, да и въ послѣдствіи, если правду сказать, вѣрилъ только черезъ болѣзненное, сверхъестественное усилье, черезъ насильственное заглушенье внутренняго голоса, безпрестанно шептавшаго мнѣ о нелѣпости моихъ надеждъ и моихъ предпріятій.—Мнѣ такъ бывало иногда тяжело, что не разъ останавливался я вечеромъ на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сдѣлаю, если брошусь въ Сену и потоплю въ ней безрадостное и безполѣзное существованье?

Къ тому же въ это время весь міръ былъ погруженъ въ тяжелую летаргію. Послѣ короткой суматохи, происшедшей было въ Германіи по вступленьи на прусскій престолъ нынѣ царствующаго Короля, и послѣ эфемерного движенья, произведеннаго нѣсколько мѣсяцевъ позже въ цѣлой Европѣ восточнымъ вопросомъ, въ кратковременное министерство Тьерса [1],—міръ казалось заснулъ и заснулъ такъ глубоко, что никто, ниже самые эксцентрическіе демократы не вѣрили въ его скорое про-

[1]) Т.-е. Тьера. *Прим. ред.*

бужденье. Тогда еще никто не предвидѣлъ, что эта тишина была тишина передъ бурею; Французы же, какъ извѣстно, отлагали всѣ свои надежды до смертнаго часу покойнаго Короля Людвига-Филиппа. Правда, что еще въ концѣ 1844 года, мнѣ Marrast разъ сказалъ: «La révolution est imminente, mais on ne peut jamais prédire quand et comment se fera une révolution française; la France est comme ce chaudron à vapeur, toujours pret à éclater et dont nul ne sait prevoir l'explosion». Но и Marrast и его пріятели и вообще всѣ демократы ходили еще тогда повѣся носъ и находились въ превеликомъ уныньи. Консервативная же партія торжествовала, обѣщая себѣ жизнь безъ конца; а публика отъ скуки занималась скандалезными электоральными и іезуитическими происшествіями, да еще заморскимъ движеньемъ англійскихъ free-traders.

Въ серединѣ 1845-го года показались послѣ долгаго безвѣтрія, не всѣмъ, а только слѣдовавшимъ за германскимъ развитьемъ, показались, говорю я, первыя слабыя волны на политическомъ океанѣ: въ Германіи появились двѣ новыя религіозныя секты: die Lichtfreunde und die Deutsch-Katholiken. Во Франціи иные надъ ними смѣялись, другіе же видѣли въ нихъ, и мнѣ кажется не безъ основанья, знаки времяни, предзнаменованья погоды. Секты сіи, ничтожныя сами въ себѣ, были важны тѣмъ, что онѣ переводили на религіозный, т.-е. на народный языкъ, современныя понятья и требованья. Онѣ не могли имѣть большого вліянья на образованные классы, но зато дѣйствовали на воображенье массъ, всегда болѣе склонныхъ къ религіозному фанатизму. Къ тому же нѣмецкій католицизмъ былъ изобрѣтенъ и пущенъ въ міръ, съ цѣлью чисто политическою, демократическою партіею, въ Прусской Шлезіи [1]); онъ былъ дѣйствительнѣе своей старшей протестантской сестры, которая въ свою очередь была честнѣе; между его апостолами и проповѣдниками было много грязныхъ шарлатановъ, но также и много людей даровитыхъ, и можно сказать, что подъ видомъ общаго причащенья, будто бы возобновленнаго со времянъ первоначальной церкви, нѣмецкій католицизмъ явно проповѣдывалъ коммунизмъ.

Но весь интересъ, пробужденный появленьемъ сихъ сектъ, испарился, когда пронесся вдругъ слухъ, что Король Фридрихъ Вильгельмъ 4-й далъ Государству своему Конституцію. Германія опять взволновалась и Франція какъ будто бы въ первый разъ воспрянула отъ тяжкаго сна. За симъ послѣдовали скоро, и какъ громовой ударъ за ударомъ, сначала Польское движенье, потомъ Швейцарскія и Итальянскія происшествія, а наконецъ революція 1848-го года.—Я остановлюсь на Польскомъ возстаньи, ибо оно составляетъ эпоху въ моей собственной жизнѣ.

До 1846-го года я былъ чуждъ всѣмъ политическимъ предпріятьямъ. С Польскими демократами не былъ знакомъ; Нѣмцы кажется тогда

---

[1]) Т.-е. Силезии. *Прим. ред.*

еще рѣшительно ничего не предпринимали; французы же, съ которыми я былъ знакомъ, мнѣ ничего не говорили. Находясь издавна въ тѣсной связи с Польскими демократами, они безъ всякаго сомнѣнья знали о готовившемся Польскомъ возстаніи; но Французы умѣютъ держать тайну, а такъ какъ отношенья мои съ ними ограничивались простымъ внѣшнимъ знакомствомъ, то я и не могъ узнать отъ нихъ ничего; такъ, что Познанскіе замыслы, попытки въ Царствѣ Польскомъ, краковское возстанье и происшествія въ Галиціи меня по крайнѣй мѣрѣ столько же поразили, какъ и всю протчую публику. Впечатлѣнье же, произведенное ими въ Парижѣ, было неимовѣрно: въ продолженье двухъ или трехъ дней все народонаселенье жило на улицѣ; незнакомый говорилъ съ незнакомымъ, всѣ требовали новостей и всѣ ожидали извѣстій изъ Польши съ трепетнымъ нетерпѣньемъ.—Это внѣзапное пробужденье, это всеобщее движенье страстей и умовъ обхватило также и меня своими волнами, я самъ какъ будто бы проснулся,—и рѣшился во что бы то не было вырваться изъ своего бездѣйствія и принять дѣятельное участье въ готовившихся происшествіяхъ.

Для этого я долженъ былъ вновь обратить на себя вниманье Поляковъ, уже успѣвшихъ позабыть обо мнѣ, и съ такою цѣлью написалъ статью о Польшѣ и о Бѣло Русскихъ уніятахъ, о которыхъ была тогда рѣчь во всѣхъ западно-европейскихъ журналахъ. Сія статья, явившаяся въ «Constitutionnel» въ началѣ весны 1846 го года, находится безъ сомнѣнья въ рукахъ Правительства. Когда я отдалъ ее Merrucau, gérant du «Constitutionnel», онъ мнѣ сказалъ: «qu'on mette le feu aux quatre coins du monde pourvu que nous sortions de cet état honteux et insupportable»! — Я ему напомнилъ эти слова въ Февралѣ 1848-го года, но онъ уже тогда каялся, испугавшись, равно какъ и всѣ протчіе либералы династической оппозиціи, страшной и вмѣстѣ странной революціи, ими же самими накликанной.

До 1846-го года, грѣхи мои не были грѣхи намѣренные, но болѣе легкомысленные и какъ бы сказать юношескіе; возмужавъ лѣтами, я еще долго оставался неопытнымъ юношею. Съ этого же времяни я сталъ грѣшить съ сознаньемъ, намѣренно и съ болѣе или менѣе опредѣленною цѣлью.—Государь! я не буду стараться извинять свои неизвинимыя преступленья, ни говорить Вамъ о позднемъ раскаяньи:—*раскаянье въ моемъ положеньи столь же безполѣзно, какъ и раскаянье грѣшника послѣ смерти*,—*а буду просто разсказывать факты и не утаю, не умалю ни одного* [1]).

Вскорѣ по появленіи вышерѣченной статьи я отправился въ Версаль, безъ всякаго зову, собственнымъ движеньемъ, для того чтобъ познакомиться

[1]) Подчеркнуто Николаем. На поляx пометка: „Неправда, всякаго грѣшника раскаяніе, но чистосердечное, можетъ спасти“. *Прим. ред.*

и, если было бы возможно, сблизиться и согласиться на общее дѣло, съ пребывавшимъ тамъ тогда членами Централизаціи Польскаго демократическаго общества. Я хотѣлъ имъ предложить совокупное дѣйствіе на Русскихъ, обрѣтавшихся въ Царствѣ Польскомъ, въ Литвѣ и въ Подоліи, предполагая, что они имѣютъ въ сихъ провинціяхъ связи, достаточныя для дѣятельной и успѣшной пропаганды. Цѣлью же поставлялъ русскую революцію и республиканскую федерацію всѣхъ Славянскихъ земель,— основанье единой и нераздѣльной Славянской республики, федеративной только въ административномъ, центральной же въ политическомъ отношеніи.

Попытка моя не имѣла успѣха. Я видѣлся съ Польскими демократами нѣсколько разъ, но не могъ съ ними сойтиться; во-первыхъ, вслѣдствіе разногласія въ нашихъ національныхъ понятьяхъ и чувствахъ; они мнѣ показались тѣсны, ограниченны, исключительны, ничего не видѣли, кромѣ Польши, не понимая перемѣнъ, происшедшихъ въ самой Польшѣ со времянъ ея совершеннаго покоренья;—отчасти же потому, что они мнѣ и не довѣряли, да и не обѣщали себѣ вѣроятно большой пользы отъ моего содѣйствія. Такъ что послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ свиданій въ Версалѣ мы совсѣмъ перестали видѣться,—и движенье мое, преступное въ цѣли, не могло имѣть на сей разъ никакого преступнаго послѣдствія.

Отъ конца лѣта 1846-го года до Ноября 1847-го года я опять оставался въ полномъ бездѣйствіи, занимаясь по старому науками, слѣдуя съ трепетнымъ вниманьемъ за возраставшимъ движеньемъ Европы и горя нетерпѣньемъ принять въ немъ дѣятельное участіе, но не предпринимая еще ничего положительнаго. Съ Польскими демократами болѣе не видѣлся, а видѣлъ много молодыхъ Поляковъ, бѣжавшихъ изъ краю въ 1846-мъ году и которые въ послѣдствіи почти всѣ обратились въ мистицизмъ Мицкевича.—Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ я былъ болѣнъ и сидѣлъ дома съ выбритою головою, когда ко мнѣ пришли двое изъ сихъ молодыхъ людей, предлагая произнесть рѣчь на торжествѣ, совершаемомъ ежегодно Поляками и Французами въ память революціи 1831-го года. Я съ радостью ухватился за эту мысль, заказалъ парикъ и приготовивъ рѣчь въ три дня произнесъ ее въ многолюдномъ собраніи 17/29 Ноября 1847-го года.—Государь! Вы можетъ быть знаете эту несчастную рѣчь, начало моихъ несчастныхъ и преступныхъ похожденій. За нее, по требованью Русскаго Посольства, я былъ изгнанъ изъ Парижа и поселился въ Брюсселѣ.

Тамъ меня встрѣтилъ Лелевель новымъ торжествомъ; я произнесъ вторую рѣчь, которая была бы напечатана, если бъ не помѣшала февральская революція. Въ этой рѣчи, бывшей какъ бы развитьемъ и продолженьемъ первой, я много говорилъ о Россіи, о ее прошедшемъ развитіи, много о древней враждѣ и борьбѣ между Россіею и Польшею; го-

ворилъ также и о великой будущности Славянъ, призванныхъ обновить гніющій западный міръ; потомъ сдѣлавъ обзоръ тогдашняго положенья Европы и предвѣщая близкую Европейскую революцію, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушенье Австрійской Имперіи, я кончилъ слѣдующими словами: «préparons nous et quand l'heure aura sonné que chacun de nousf asse son devoir». Впротчемъ и въ это время, кромѣ взаимныхъ комплиментовъ и болѣе или менѣе симпатическихъ фразъ, не смотря на мое сильное желаніе сблизиться съ Поляками, я ни съ однимъ не могъ сблизиться. Наши природы, понятія, симпатіи находились въ слишкомъ рѣзкомъ противурѣчіи, для того чтобъ было возможно между нами дѣйствительное соединенье. Къ тому же въ это самое время Поляки болѣе чѣмъ когда нибудь стали смотрѣть на меня съ недовѣрьемъ: къ моему удивленью и не малому прискорбью, пронесся въ первый разъ слухъ, что будто бы я тайный агентъ Русскаго Правительства. Слышалъ я потомъ отъ Поляковъ, что будто бы Русское Посольство въ Парижѣ, на вопросъ Министра Guizot обо мнѣ, отвѣчало: «C'est un homme qui ne manque pas de talent, nous l'employons mais aujourd'hui il est allé trop loin», и что Guizot далъ знать объ этомъ князю Чарторижскому; слышалъ также, что министръ Duchatel писалъ обо мнѣ къ Бельгійскому Правительству, что я не политическій эмигрантъ, а просто воръ, укравшій въ Россіи значительную сумму, потомъ бѣжавшій, и за воровство и за бѣгство осужденъ на каторжную работу.—Какъ бы то ни было, но эти слухи, вмѣстѣ съ другими вышеупомянутыми причинами, сдѣлали всякую связь между Поляками и мною невозможною.

Въ Брюсселѣ меня было ввели въ общество соединенныхъ Нѣмецкихъ и Бельгійскихъ коммунистовъ и радикаловъ, съ которыми находились въ связи и англійскіе Шартисты [1]) и французскіе демократы,— общество впротчемъ не тайное, съ публичными засѣданьями; были вѣроятно и тайныя сходбища, но я въ нихъ не учавствовалъ, да и публичныя то посѣтилъ всего только два раза; потомъ же пересталъ ходить, потому что манеры и тонъ ихъ мнѣ не понравились, а требованья ихъ были мнѣ нестерпимы, такъ что я навлекъ даже на себя ихъ неудовольствіе и можно сказать ненависть Нѣмецкихъ коммунистовъ, которые громче другихъ стали кричать о моемъ мнимомъ предательствѣ.—Жилъ же я болѣе въ кругу аристократическомъ; познакомился съ генераломъ Скрыженецкимъ, а черезъ него съ графомъ Mérode, бывшимъ министромъ, и съ французомъ Графомъ Montalambert, зятемъ послѣдняго; т.-е. жилъ въ самомъ центрѣ іезуитической пропаганды. Меня старались обратить въ католическую вѣру, и такъ какъ о моемъ душевномъ спасеньи вмѣстѣ съ іезуитами пеклись также и дамы, то мнѣ было въ ихъ обществѣ довольно весело. Въ то же время я писалъ статьи для «Constitutionnel»

---

1) Т.-е. чартисты. *Прим. ред.*

о Бельгіи и бельгійскихъ іезуитахъ, не переставая однако слѣдовать за ускорявшимся ходомъ политическихъ происшествій въ Италіи и во Франціи.

Наконецъ грянула февральская революція.—Лишь только я узналъ, что въ Парижѣ дерутся, взявъ у знакомаго на всякій случай пашпортъ, отправился обратно во Францію. Но пашпортъ былъ ненуженъ: первое слово, встрѣтившее насъ на границѣ, было: «la République est proclamée á Paris». У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ, когда я услышалъ это извѣстіе; въ Valencienne пришелъ пѣшкомъ, потому что желѣзная дорога была сломана; вездѣ толпа, восторженные клики, красныя знамена на всѣхъ улицахъ, плацахъ и на всѣхъ публичныхъ зданьяхъ. Я долженъ былъ ѣхать объѣздомъ, желѣзная дорога была сломана во многихъ мѣстахъ, и пріѣхалъ въ Парижъ 26-го Февраля, на третій день по объявленьи республики.—На дорогѣ мнѣ было весело, что же скажу Вамъ, Государь, о впечатлѣніи, произведенномъ на меня Парижемъ! Этотъ огромный городъ, центръ европейскаго просвѣщенья, обратился вдругъ въ дикій Кавказъ: на каждой улицѣ, почти на каждомъ мѣстѣ баррикады, взгроможденныя какъ горы и досягавшія крышъ, а на нихъ, между каменьями и сломанною мебелью, какъ Лезгинцы въ ущельяхъ, работники въ своихъ живописныхъ блузахъ, почернѣвшіе отъ пороху и вооруженные съ головы до ногъ; изъ оконъ выглядывали боязливо толстые лавочники, épiciers, съ поглупѣвшими отъ ужаса лицами; на улицахъ, на бульварахъ ни одного экипажа; исчезли всѣ молодые и старые франты, всѣ ненавистные львы съ тросточками и лорнетами, а на мѣсто ихъ мои благородные увріеры, торжествующими, ликующими толпами, съ красными знаменами, съ патріотическими пѣснями, упивающіеся своею побѣдою! И посреди этого безграничнаго раздолья, этого безумнаго упоенья, всѣ были такъ незлобивы, сострадательны, человѣколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франціи, да и во Франціи только въ одномъ Парижѣ, можно увидѣть подобную вѣщь!—Я жилъ потомъ съ работниками болѣе недѣли въ caserne de Tournons, въ двухъ шагахъ отъ Люксембурскаго дворца; казармы сіи были прежде казармами муниципальной Гвардіи, въ то же время обратились со многими другими въ червленно-республиканскую крѣпость, въ казармы для Коссидіеровской гвардіи. Жилъ же я въ нихъ по приглашенью знакомаго демократа, командовавшаго отдѣленьемъ пятисотъ работниковъ. Такимъ образомъ я имѣлъ случай видѣть и изучать сихъ послѣднихъ съ утра до вечера.—Государь! увѣряю Васъ, ни въ одномъ классѣ, никогда и нигдѣ, не нашелъ я столько благороднаго самоотверженья, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности въ обращеньи и столько любезной веселости, соединенной съ такимъ героизмомъ, какъ въ этихъ простыхъ необразованныхъ людяхъ, которые всегда были и будутъ въ тысячу разъ лучше всѣхъ своихъ предводителей! Что въ нихъ особенно поразительно, это глубокій инстинктъ дисциплины; въ казар-

махъ ихъ не могло существовать ни установленнаго порядка, ни законовъ, ни принужденья; но дай Богъ, чтобъ любой вымуштрованный солдатъ умѣлъ такъ точно повиноваться, отгадывать желанья своихъ начальниковъ и такъ свято соблюдать порядокъ, какъ эти вольные люди; они требовали приказаній, требовали начальства, повиновались съ педантизмомъ, со страстью, голодали на тяжкой службѣ по цѣлымъ суткамъ и никогда не унывали, и всегда были веселы и любезны.—Еслибъ эти люди, еслибъ французскіе работники вообще нашли себѣ достойнаго предводителя, умѣющаго понимать и любить ихъ, то онъ сдѣлалъ бы съ ними чудеса.

Государь! Я не въ состояніи отдать Вамъ яснаго отчета въ мѣсяцѣ, проведенномъ мною въ Парижѣ, потому что это былъ мѣсяцъ духовнаго пьянства. Не я одинъ, всѣ были пьяны: одни отъ безумнаго страху, другіе отъ безумнаго восторга, отъ безумныхъ надеждъ. Я вставалъ въ пять, въ четыре часа поутру, а ложился въ два; былъ цѣлый день на ногахъ, учавствовалъ рѣшительно во всѣхъ собраньяхъ, сходбищахъ, клубахъ, процессіяхъ, прогулкахъ, демонстраціяхъ; однимъ словомъ, втягивалъ въ себя всѣми чувствами, всѣми порами упоительную революціонерную атмосферу.—Это былъ пиръ безъ начала и безъ конца; тутъ я видѣлъ всѣхъ и никого не видѣлъ, потому что всѣ терялись [1]) въ одной гуляющей безчисленной толпѣ; говорилъ со всѣми и не помнилъ ни что имъ говорилъ, ни что мнѣ говорили, потому что на каждомъ шагу новые предметы, новыя приключенья, новыя извѣстья. Къ подержанью и усиленью всеобщей горячки не мало способствовали также извѣстья, приходившія безпрестанно изъ протчей Европы; бывало только и слышишь: «On se bat à Berlin; le roi a pris la fuite, après avoir prononcé un discours!—On s'est battu à Vienne, Metternich s'est enfui, la République y est proclameé!—Toute l'Allemagne se soulève. Les Italiens ont triomphé à Milan; à Venise; les Autrichiens ont subi une honteuse defaite!—La République y est proclamée; toute l'Europe devient République... vive la République!»

Казалось, что весь міръ переворотился; невѣроятное сдѣлалось обыкновѣннымъ, невозможное возможнымъ, возможное же и обыкновѣнное безсмысленнымъ. Однимъ словомъ, умы находились тогда въ такомъ состояньи, что еслибъ кто пришелъ и сказалъ: «le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la république y est proclamée!», такъ всѣ бы повѣрили и никто бы не удивился. И не одни только демократы находились въ такомъ опьяненьи; напротивъ демократы первые отрезвились, потому что должны были приняться за дѣло и укрѣпить за собою власть, упавшую въ ихъ руки какимъ-то неожиданнымъ чудомъ. Консервативная партія и династическая оппозиція, сдѣлавшаяся черезъ день консервативнѣе самихъ консерваторовъ, однимъ словомъ, люди стараго порядка вѣрили во всѣ

---

[1]) Конецъ первой тетради оригинала въ пять писчихъ листовъ (или 20 страницъ). *Прим. ред.*

чудеса и во всѣ невозможности болѣе, чѣмъ всѣ демократы; они ужъ думали, что дважды два перестало быть четыре, и самъ Thiers объявилъ: «il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de nous faire oublier».—Симъ однимъ объясняются и та поспѣшность и то единодушье, съ которымъ всѣ города, провинціи и классы во Франціи признали республику.

Но пора возвратиться мнѣ къ своей собственной исторіи. Послѣ двухъ или трехъ недѣль такого пьянства, я нѣсколько отрезвился и сталъ себя спрашивать: что жъ буду я теперь дѣлать? Не въ Парижѣ и не во Франціи мое призванье, мое мѣсто на Русской границѣ; туда стремится теперь Польская Эмиграція, готовясь на войну противъ Россіи; тамъ долженъ быть и я для того, чтобъ дѣйствовать въ одно и то же время на Русскихъ и на Поляковъ, для того чтобъ не дать готовящейся войнѣ сдѣлаться войною Европы противъ Россіи: «pour refouler ce peuple barbare dans les deserts de l'Asie», какъ они иногда выражались; и стараться чтобъ это не была война онѣмечившихся Поляковъ противъ Русскаго Народа, но Славянская война, война соединенныхъ вольныхъ Славянъ противъ Русскаго Императора.

Государь! Я не скажу ни слова о преступности и о донъ-кихотскомъ безумьи моего предпріятья; остановлюсь только здѣсь для того, чтобъ яснѣе опредѣлить свое тогдашнее положенье, средства и связи. Я считаю необходимымъ войти въ подробное объясненье на сей счетъ, ибо знаю, что мой выѣздъ изъ Парижа былъ предметомъ многихъ ложныхъ обвиненій и подозрѣній.

Во первыхъ, мнѣ извѣстно, что многіе меня называли агентомъ Ledru-Rollin. Государь! Въ этой Исповѣди я не скрылъ отъ Васъ ничего, ни одного грѣха, ни одного преступленья; я обнажилъ передъ Вами всю душу; Вы видѣли мои заблужденья, видѣли, какъ я впадалъ изъ безумья въ безумье, изъ ошибки въ грѣхъ, изъ грѣха въ преступленье... Но Вы повѣрите мнѣ, Государь, когда я Вамъ скажу, что, при всемъ безумьи, при всей преступности моихъ помысловъ и моихъ предпріятій, я все-таки сохранилъ слишкомъ много гордости, самостоятельности, чувства достоинства и, наконецъ, любви къ родинѣ, для того чтобъ согласиться быть противъ нее презрѣннымъ агентомъ, слѣпымъ и грязнымъ орудьемъ какой бы то ни было партіи, какого бы то ни было человѣка!—Я изъяснялъ неоднократно въ моихъ показаньяхъ, что я съ Ledru-Rollin почти не былъ знакомъ, видѣлъ его только разъ въ жизни и едва сказалъ съ нимъ десять незначительныхъ словъ; и теперь повторяю то же, потому что это есть истина. Гораздо ближе былъ я знакомъ с Louis Blanc и Flocon, а съ Albert познакомился только по моемъ возвращеньи изъ Франціи [1]. Въ продолженьи всего мѣсяца, проведеннаго мною въ Парижѣ, обѣдалъ три раза у Louis Blanc и былъ разъ у Flocon въ

---

[1]) Повидимому, описка: слѣдует читать—из Бельгии. *Прим. ред.*

домѣ, да еще нѣсколько разъ обѣдалъ у Коссидіера, революціонернаго префекта полиціи, у котораго нѣсколько разъ видѣлъ Albert; съ другими членами провизорнаго Правительства я въ это время не видѣлся. — Только одно обстоятельство могло подать поводъ къ вышерѣченному обвиненію; но это обстоятельство кажется осталось неизвѣстнымъ моимъ обвинителямъ.

Рѣшившись ѣхать на русскую границу и не имѣя денегъ для этой поѣздки, я долго искалъ у пріятелей и у знакомыхъ и, не найдя ничего, скрѣпя сердце, рѣшился прибѣгнуть къ демократическимъ членамъ провизорного Правительства; въ слѣдствіе этого написалъ и послалъ в четырехъ экземплярахъ къ Flocon, Louis Blanc, Albert и Lédru-Rollin короткую записку слѣдующаго содержанья: «Изгнанный изъ Франціи падшимъ правительствомъ, возвратившись же въ нее послѣ февральской революціи и теперь намѣреваясь ѣхать на русскую границу, въ герцогство Познанское, для того чтобъ дѣйствовать вмѣстѣ съ польскими Патріотами, я нуждаюсь въ деньгахъ и прошу демократическихъ членовъ провизорного Правительства дать мнѣ 2000 франковъ, не даровою помощью, на которую не имѣю ни желанья, ни права, но въ видѣ займа, обѣщая возвратить эту сумму, когда будетъ только возможно».—Получивъ сію записку, Flocon просилъ меня къ себѣ и сказалъ мнѣ, что онъ и друзья его въ провизорномъ Правительствѣ готовы мнѣ ссудить сію незначительную сумму и, если я потребую, болѣе, но что прежде онъ долженъ переговорить с Польскою Централизаціею, ибо, находясь съ нею въ обязательныхъ отношеньяхъ, они связаны ею во всемъ, что хоть нѣсколько касается Польши. Какого рода были эти переговоры и что польскіе демократы сказали обо мнѣ Flocon, мнѣ неизвѣстно; знаю только, что на другой день онъ мнѣ предлагалъ гораздо большую сумму, что я взялъ у него 2000 франковъ и что, прощаясь, онъ меня просилъ писать ему, для его журнала «Réforme», изъ Германіи и Польши.—Я писалъ ему два раза: изъ Кёльна въ самомъ началѣ, потомъ изъ Кöттена въ самомъ концѣ 1848 года, при посылкѣ своего «Воззванья къ Славянамъ». Отъ него же не получалъ ни писемъ, ни порученій и не имѣлъ съ нимъ никакихъ другихъ ни прямыхъ, ни косвенныхъ отношеній.—Денегъ не отдалъ, потому что жилъ въ Германіи въ постоянной бѣдности.

Во-вторыхъ, меня обвиняли или, лучше сказать, подозрѣвали,—для обвиненья не нашлось положительныхъ фактовъ,—подозрѣвали, говорю я, что я, отправляясь изъ Парижа, находился въ тайной связи съ Польскими демократами, дѣйствовалъ съ ними заодно, по ихъ порученью и по прежде составленному плану. Такое подозрѣнье было весьма естественно, но также лишено всякаго основанья.—Въ эмиграціяхъ должно различать двѣ вещи: толпу шумящую и тайныя общества, всегда состоящія изъ немногихъ предпріимчивыхъ людей, которые ведутъ толпу не-

видимою рукою и готовятъ предпріятье въ тайныхъ засѣданьяхъ. — Я зналъ въ это время толпу польскихъ эмигрантовъ и она меня знала, знала даже лучше, чѣмъ я могъ знать каждаго, потому что они были безъ числа, я же только одинъ Русскій посреди ихъ; слышалъ, что они говорили: ихъ гасконады, фантазіи, надежды,—слышалъ однимъ словомъ то, что всякій могъ бы слышать, еслибъ только захотѣлъ; но не учавствовалъ въ засѣданьяхъ и не былъ повѣреннымъ тайнъ дѣйствительныхъ заговорщиковъ. Въ это время въ Парижѣ существовали только два серьезныя Польскія общества: общество Чарторижскаго и общество демократовъ. Съ партіей Чарторижскаго я никогда не имѣлъ сношеній, его же видѣлъ всего одинъ разъ. Въ 1846 году я хотѣлъ было войти въ связь съ Демократическою Централизаціею, но попытка моя не имѣла успѣха, а въ Парижѣ, послѣ февральской революціи, я не встрѣтилъ даже ни одного изъ ея членовъ; такъ что я въ это время гораздо мѣнѣе зналъ о замыслахъ польскихъ демократовъ, чѣмъ о бельгійскихъ, италіянскихъ, особенно же о нѣмецкихъ современныхъ предпріятьяхъ. Между Итальянцами я зналъ Mattiani и генерала Pépé, не принадлежавшихъ ни къ какимъ обществамъ. Между Бельгійцами зналъ нѣкоторыхъ предводителей, слышалъ о ихъ намѣреньяхъ, но не вмѣшивался въ ихъ дѣла. Ближе же и лучше зналъ дѣла нѣмецкія, находясь въ дружеской связи съ Гервегомъ, который принималъ въ нихъ дѣятельное участье. Я видѣлъ начало несчастнаго похода Гервега въ Баденъ, зналъ его средства, его помощниковъ, его вооруженье, обѣщанья провизорнаго Правительства и число работниковъ, вписавшихся въ его полкъ, а также и его отношенья съ Баденскими демократами; зналъ много потому, что былъ другъ Гервегу, но никакимъ образомъ не связывалъ ни себя, ни свои намѣренья съ его намѣреньями.

Для дополненья картины моего тогдашняго положенья и для того, чтобъ не оставить въ ней ни одной ложной тѣни, я долженъ наконецъ сказать нѣсколько словъ и о Русскихъ. Ведь, назвавъ ихъ моими знакомыми, я не могу скомпрометировать ихъ болѣе, чѣмъ они сами скомпрометировали себя въ Парижѣ. — Иванъ Головинъ, Николай Сазоновъ, Александръ Герценъ и можетъ быть еще Николай Ивановичъ Тургеневъ,—вотъ единственные Русскіе, про которыхъ можно бы было съ нѣкоторымъ основаньемъ подумать, что я находился съ ними въ политическихъ отношеньяхъ.—Но Головина я не любилъ, не уважалъ, всегда держалъ себя отъ него въ далекомъ разстояньи, а послѣ февральской революціи кажется даже ни разу не встрѣтилъ. — Николай Сазоновъ человѣкъ умный, знающій, даровитый, но самолюбивый и себялюбивый до крайности. Сначала онъ былъ мнѣ врагомъ за то, что я не могъ убѣдиться въ самостоятельности русской аристократіи, которой онъ считалъ себя тогда не послѣднимъ представителемъ; потомъ сталъ называть меня своимъ другомъ; я въ дружбу его не вѣрилъ, но видѣлъ его довольно

часто, находя удовольствіе въ его умной и любезной бесѣдѣ. По возвращеньи моемъ изъ Бельгіи, я встрѣтилъ его нѣсколько разъ у Гервега; онъ на меня дулся и, какъ я потомъ услышалъ, первый сталъ распространять слухъ о моей мнимой зависимости отъ Ledru-Rollin. Гораздо болѣе лежало у меня сердце къ Герцену. Онъ человѣкъ добрый, благородный, живой, остроумный, нѣсколько болтунъ и эпикуреецъ; я видѣлъ его въ Парижѣ лѣтомъ въ 1847 году; тогда онъ не думалъ еще эмигрировать и болѣе всѣхъ другихъ смѣялся надъ моимъ политическимъ направленьемъ, самъ же занимался всевозможными вопросами и предметами, особенно литературою.—Въ концѣ лѣта 1847 года онъ уѣхалъ въ Италію и возвратился въ Парижъ лѣтомъ 1848-го, два или три мѣсяца спустя по моемъ отъѣздѣ изъ онаго, такъ что мы разъѣхались съ нимъ, никогда болѣе не видались и не переписывались. Одинъ разъ онъ мнѣ только прислалъ денегъ черезъ Рейхеля.—Наконецъ о Н. И. Тургеневѣ я могу сказать только, что онъ въ это время болѣе чѣмъ когда держалъ себя въ сторонѣ отъ цѣлаго міра и какъ богатый собственникъ и «rentier» былъ таки не мало испуганъ приключившеюся революціею.— Я видѣлъ его мѣлькомъ и какъ бы сказать мимоходомъ.

Однимъ словомъ, Государь, я имѣю полное право сказать, что я жилъ, предпринималъ, дѣйствовалъ внѣ всякаго общества, независимо отъ всякаго чуждаго побужденья и вліянья: безумье, грѣхи, преступленья мои принадлежали и принадлежатъ исключительно мнѣ.—Я много, много виноватъ, но никогда не унижался до того, чтобы быть чужимъ агентомъ, рабомъ чужой мысли.

Наконецъ есть противъ меня еще одно гнусное обвиненье:

Меня обвиняли, будто бы я хотѣлъ, въ сообществѣ двухъ Поляковъ, которыхъ теперь позабылъ и фамилію, что будто бы я намѣревался посягнуть на жизнь Вашего Императорскаго Величества.—Не стану входить въ подробности такой клеветы; я подробно отвѣчалъ на нее въ своихъ заграничныхъ показаньяхъ и стыжусь говорить много объ этомъ предметѣ. Одно только скажу, Государь: я преступникъ передъ Вами и передъ закономъ, я знаю великость своихъ преступленій, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни къ злодѣйству, ни къ подлости. Мой политическій фанатизмъ, жившій болѣе въ воображеньи, чѣмъ въ сердцѣ, имѣлъ также свои крѣпко-опредѣленныя границы, и никогда ни Брутъ, ни Равальякъ, ни Алибо не были моими героями. Къ тому же, Государь, въ душѣ моей собственно противъ васъ никогда не было даже и тѣни ненависти. Когда я былъ юнкеромъ въ Артиллерійскомъ Училищѣ, я такъ же, какъ и всѣ товарищи, страстно любилъ Васъ. Бывало, когда вы пріѣдете въ лагерь, одно слово: «Государь ѣдетъ» приводило всѣхъ въ невыразимый восторгъ и всѣ стремились къ Вамъ на встрѣчу. Въ вашемъ присутствіи мы не знали боязни; напротивъ, возлѣ Васъ и подъ Вашимъ покровительствомъ, искали прибѣжища отъ на-

чальства; оно не смѣло идти за нами въ Александрію. Я помню, это было во время холеры: Вы были грустны, Государь; мы молча окружали Васъ, смотрѣли на Васъ съ трепетнымъ благоговѣньемъ, и каждый чувствовалъ въ душѣ своей Вашу великую грусть, хоть и не могъ познать ея причины;—и какъ счастливъ былъ тотъ, которому Вы скажете, бывало, слово!—Потомъ, много лѣтъ спустя, за границей, когда я сдѣлался ужъ отчаяннымъ демократомъ, я сталъ считать себя обязаннымъ ненавидѣть императора Николая; но ненависть моя была въ воображеньи, въ мысляхъ, не въ сердцѣ: я ненавидѣлъ отвлеченное политическое лицо, Олицетворенье Самодержавной Власти въ Россіи, притѣснителя Польши, а не то Живое Величественное Лицо, которое поразило меня въ самомъ началѣ жизни и запечатлѣлось въ юномъ сердцѣ моемъ. Впечатлѣнья юности не легко изглаживаются, Государь!—Да и въ самомъ разгарѣ моего политическаго фанатизма, безумье мое сохранило извѣстную мѣру; мои нападки противъ Васъ никогда не выходили изъ политической сферы: я дерзалъ называть Васъ жестокимъ, железнымъ, немилосерднымъ деспотомъ, проповѣдывалъ ненависть и бунтъ противъ Вашей власти; но никогда не дерзалъ и не хотѣлъ и не могъ коснуться святотатственнымъ языкомъ собственно до Вашего Лица, Государь, и, какъ бы выразить это, не нахожу словъ, хоть и глубоко чувствую различье,—никогда однимъ словомъ я не говорилъ, не писалъ, какъ подлый лакѣй, который ругается надъ своимъ Господиномъ, и хулитъ и клевещетъ, потому что знаетъ, что баринъ или не слышитъ или слишкомъ отдаленъ отъ него, для того чтобы задѣть его своею дубинкой. Наконецъ, Государь! даже и въ самое послѣднее время, наперекоръ всѣмъ демократическимъ понятьямъ и какъ бы противъ воли, я глубоко, глубоко почиталъ Васъ!—Не я одинъ, множество другихъ, Поляковъ и Европейцевъ вообще, сознавали со мною, что между всѣми нынѣ царствующими Вѣнценосцами Вы только одинъ, Государь, сохранили вѣру въ свое Царское Призванье.—Съ такими чувствами, съ такими мыслями, не смотря на все политическое безумье, я не могъ быть Цареубійцею, и Вы повѣрите, Государь, что это обвиненье не что иное, какъ гнусная клевета.

Теперь же возвращусь къ своему повѣствованью.—Взявъ деньги у Flocon, я пошелъ за пашпортомъ къ Коссидіеру; взялъ же у него не одинъ, а два паспорта, на всякій случай, одинъ на свое имя, другой же на мнимое, желая по возможности скрыть свое присутствіе въ Германіи и въ Познанскомъ герцогствѣ. Потомъ, отобѣдавъ у Гервега и взявъ у него письма и порученья къ Баденскимъ демократамъ, сѣлъ въ дилижансъ и поѣхалъ на Страсбургъ.—Если бы меня кто въ дилижансѣ спросилъ о цѣли моей поѣздки и я бы захотѣлъ отвѣчать ему, то между нами могъ бы произойти слѣдующій разговоръ:

«Зачѣмъ ты ѣдешь?»—Ѣду бунтовать.—«Противъ кого?»—Противъ Императора Николая.—«Какимъ образомъ?»—Еще самъ хорошо

не знаю.—«Куда жъ ты ѣдешь теперь?»—Въ Познанское герцогство. — «Зачѣмъ имянно туда?» — Потому что слышалъ отъ Поляковъ, что теперь тамъ болѣе жизни, болѣе движенья, и что оттуда легче дѣйствовать на Царство Польское, чѣмъ изъ Галиціи.—«Какія у тебя средства?» — 2000 франковъ. — «А надежды на средства?»—Никакихъ опредѣленныхъ, но авось найду.—«Есть знакомые и связи въ Познанскомъ герцогствѣ?»—Исключая нѣкоторыхъ молодыхъ людей, которыхъ встрѣчалъ довольно часто въ Берлинскомъ университетѣ, я тамъ никого не знаю. — «Есть рекомендательныя письма?» — Ни одного. — «Какъ же ты безъ средствъ и одинъ хочешь бороться съ Русскимъ Царемъ?»—Со мной революція, а въ Позенѣ надѣюсь выйти изъ своего одиночества.— «Теперь всѣ нѣмцы кричатъ противъ Россіи, возносятъ Поляковъ и сбираются вмѣстѣ съ ними воевать противъ Русскаго Царства. Ты Русскій, неужели ты соединишься съ ними?»—Сохрани Богъ! Лишь только Нѣмцы дерзнутъ поставить ногу на Славянскую землю, я сдѣлаюсь имъ непримиримымъ врагомъ; но я затѣмъ-то и ѣду въ Позенъ, чтобъ всѣми силами воспротивиться неестественному соединенью Поляковъ съ Нѣмцами противъ Россіи.—«Но Поляки одни не въ состояньи бороться съ Русскою силою?»—Одни нѣтъ, но въ соединеньи съ другими Славянами, особенно же если мнѣ удастся увлечь Русскихъ въ Царствѣ Польскомъ... —«На чемъ основаны твои надежды, есть у тебя съ Русскими связи?» —Никакой, надѣюсь же на пропаганду и на могучій духъ революціи, овладѣвшій нынѣ всѣмъ міромъ!

Не говоря о великости преступленья, Вамъ должно быть очень смѣшно, Государь, что я одинъ, безымянный, безсильный, шелъ на брань противъ Васъ, Великаго Царя Великаго Царства! Теперь я вижу ясно свое безумье, и самъ бы смѣялся, еслибъ мнѣ было до смѣху, и поневолѣ вспоминаю одну басню Ивана Андреевича Крылова...—Но тогда ничего не видѣлъ, ни о чемъ не хотѣлъ думать, а шелъ какъ угорѣлый на явную гибель. И если что можетъ хоть нѣсколько извинить, не говорю преступность, а нелѣпость моей выходки, такъ развѣ только то, что я ѣхалъ изъ пьянаго Парижа, и самъ былъ пьянъ, да и всѣ вокругъ меня были пьяны!

Пріѣхавъ во Франкфуртъ, въ первыхъ числахъ Апрѣля, я нашелъ тутъ безчисленное множество Нѣмцовъ, собравшихся изъ цѣлой Германіи на Vor-Parlament; познакомился почти со всѣми демократами, отдалъ письма и порученья Гервега, и сталъ наблюдать, стараясь найти смыслъ въ Нѣмецкомъ хаосѣ и хоть зародышъ единства въ семъ новомъ Вавилонскомъ Столпотвореньи. Во Франкфуртѣ я пробылъ около недѣли, былъ въ Майнцѣ, въ Мангеймѣ, въ Гейдельбергѣ; былъ свидѣтелемъ многихъ народныхъ вооруженныхъ и невооруженныхъ собраній, посѣщалъ Нѣмецкіе клубы, зналъ лично главныхъ предводителей Баденскаго возстанья и о всѣхъ предпріятьяхъ, но ни въ одномъ не принималъ дѣятельнаго уча-

стья, хотъ и симпатизировалъ съ ними и желалъ имъ всякаго успѣха; оставаясь во всемъ, что касалось собственно до меня и до моихъ собственныхъ замысловъ, въ прежнемъ совершенномъ уединеньи.—Потомъ на дорогѣ въ Берлинъ, пробылъ нѣсколько дней въ Кёльнѣ, ожидая тамъ свои вѣщи изъ Брюсселя. Чѣмъ ближе къ сѣверу, тѣмъ холоднѣе становилось мнѣ на душѣ; въ Кёльнѣ мной овладѣла тоска невыразимая, какъ будто бы предчувствіе будущей гибели! Но ничто не могло остановить меня.—На другой день моего пріѣзда въ Берлинъ я былъ арестованъ, сначала бывъ принятъ за Гервега, а потомъ въ наказанье за то, что я ѣхалъ съ двумя пашпортами. Впротчемъ меня продержали только день, а потомъ отпустили, взявъ съ меня слово, что я не поѣду въ Познанское герцогство и не останусь въ Берлинѣ, а поѣду въ Бреславль. Президентъ полиціи Minatoli удержалъ у себя пашпортъ, написанный на мое собственное имя, но возвратилъ мнѣ другой на имя небывалого Леонарда Неглинскаго; отъ себя же далъ еще другой пашпортъ на имя Вольфа или Гофмана, не помню, желая вѣроятно, чтобъ я не терялъ привычки ѣздить съ двумя пашпортами. Такимъ образомъ, ничего другого почти не увидѣвъ въ Берлинѣ кромѣ полицейскаго дома, я отправился далѣе и пріѣхалъ въ Бреславль въ концѣ Апрѣля или въ самомъ началѣ Мая.

Въ Бреславлѣ пробылъ безвыѣздно до самого Славянскаго конгресса, т.-е. до конца Мая, почти мѣсяцъ.—Первымъ дѣломъ моимъ было знакомство съ бреславскими демократами; вторымъ же отыскивать Поляковъ, съ которыми бы могъ соединиться. Первое было легко, а второе не только что трудно, но оказалось рѣшительно невозможнымъ. Въ это время въ Бреславлѣ съѣхалось много Поляковъ изъ Галиціи, изъ Кракова, изъ герцогства Познанскаго, наконецъ Эмигранты изъ Парижа и Лондона. Это было нѣчто въ родѣ Польскаго Конгресса. Конгрессъ сей, сколько мнѣ по крайнѣй мѣрѣ извѣстно, не имѣлъ важныхъ результатовъ; я не присутствовалъ въ его засѣданьяхъ, но слышалъ, что было много шуму, сильная распря и разноголосица провинцій и партій, въ слѣдствіе чего всѣ Поляки разъѣхались, не положивъ ничего существеннаго.—Мое положенье между ними было съ самого начала тяжелое и странное: всѣ знали меня, были со мной очень любезны, говорили мнѣ тьму комплиментовъ; но я чувствовалъ себя между ними чужимъ; чѣмъ слаще были слова ихъ, тѣмъ холоднѣе становилось мнѣ на сердцѣ, и ни я съ ними ни они со мною не могли сойтиться. Къ тому же въ это самое время, вторично и сильнѣе чѣмъ въ первый разъ, пронесся между ними слухъ о моемъ мнимомъ предательствѣ; болѣе всѣхъ вѣрили этому слуху и распространяли его Эмигранты, особенно же члены демократическаго общества. Они потомъ, гораздо позже, извинялись, складывая всю вину на стараго болтуна Графа Ледуховскаго, котораго будто бы предостерегъ Lamartine, а онъ поспѣшилъ предостеречь всѣхъ Польскихъ

демократовъ.—Поляки видимо ко мнѣ охладѣли и я, потерявъ наконецъ терпѣнье, сталъ отъ нихъ удаляться, такъ что до Пражскаго Конгресса не имѣлъ съ ними никакихъ сношеній, видѣлся же только съ немногими, безъ политической цѣли.

Чаще бывалъ зато между Нѣмцами, посѣщалъ ихъ демократическій клубъ и пользовался между ними въ то время такою популярностью, что единственно только моимъ стараньемъ Arnold Ruge, мой старый пріятель, былъ избранъ Бреславлемъ во Франкфуртское Національное Собранье. Нѣмцы смѣшной, но добрый народъ, я съ ними почти всегда умѣлъ ладить; исключая впротчемъ Литераторовъ-Коммунистовъ.—Въ это время нѣмцы играли въ политику, и слушали меня какъ оракула. Заговоровъ и серьезныхъ предпріятій между ними не было, а шуму, пѣсней, потребленья пива и хвастливой болтовни много: все дѣлалось и говорилось на улицѣ, явно; не было ни законовъ, ни начальства: полная свобода, и каждый вечеръ, какъ бы для забавы, маленькое возмущенье. Клубы же ихъ были не что иное, какъ упражненья въ краснорѣчьи или, лучше сказать, въ пусторѣчьи.

Въ продолженіе всего Мая я оставался въ полномъ бездѣйствіи; скучалъ, тосковалъ и ждалъ удобнаго часу. Къ унынью моему не мало способствовали также и тогдашнія политическія обстоятельства: Неудачное возстанье Познанскаго Герцогства, хоть и постыдное для прусскаго войска, изгнанье Поляковъ (эмигрантовъ) изъ Кракова и вскорѣ потомъ и изъ Пруссіи, совершенное кораблекрушенье Баденскихъ демократовъ, наконецъ первое пораженье демократовъ въ Парижѣ были явными предзнаменованьями тогда уже начавшагося революціонернаго отлива. Нѣмцы этого не видѣли и не понимали, но я понималъ и въ первый разъ усумнился въ успѣхѣ.—Наконецъ стали говорить о славянскомъ конгрессѣ; я рѣшился ѣхать въ Прагу, надѣясь найти тамъ Архимедовскую точку опоры для дѣйствія.

До тѣхъ поръ, исключая Поляковъ и не говоря ужъ о Русскихъ, я не былъ знакомъ ни съ однимъ Славяниномъ, а также никогда не бывалъ въ Австрійскихъ владѣніяхъ. Зналъ же о Славянахъ по разсказамъ нѣкоторыхъ очевидцовъ да по книгамъ. Слышалъ также въ Парижѣ о клубѣ, основанномъ Cyprico Robert, замѣстившемъ Мицкевича на кафедрѣ Славянскихъ литературъ, но не ходилъ въ этотъ клубъ, не желая мѣшаться съ Славянами, предводимыми французомъ. Поэтому знакомство и сближеніе съ славянами было для меня опытомъ новымъ и я много ждалъ отъ Пражскаго Конгресса, особенно надѣясь, съ помощью протчихъ Славянъ, побѣдить тѣсноту Польскаго Національнаго Самолюбья.

Ожиданья мои, хоть и не сбылись во всей полнотѣ, не совсѣмъ были обмануты. Славяне въ политическомъ отношеньи дѣти, но я нашелъ въ нихъ неимовѣрную свѣжесть и несравненно болѣе природнаго ума и энергіи, чѣмъ въ Нѣмцахъ. Трогательно было видѣть ихъ встрѣчу,

ихъ дѣтскій, но глубокій восторгъ; сказалъ бы, что члены одного и того же семейства, разбросанные грозною судьбою по цѣлому міру, въ первый разъ свидѣлись послѣ долгой и горькой разлуки: они плакали, они смѣялись, они обнимались,—и въ ихъ слезахъ, въ ихъ радости, въ ихъ радушныхъ привѣтствіяхъ не было ни фразъ, ни лжи, ни высокопарной напыщенности; все было просто, искренно, свято.—Въ Парижѣ я былъ увлеченъ демократическою экзальтаціею, героизмомъ народнаго класса; здѣсь же увлекся искренностью и теплотою простого, но глубокаго Славянскаго чувства. Во мнѣ самомъ пробудилось Славянское сердце, такъ что въ первое время я было почти совсѣмъ позабылъ всѣ демократическія симпатіи, связывавшія меня съ Западною Европою.—Поляки смотрѣли на протчихъ Славянъ съ высоты своего политическаго значенья, держали себя нѣсколько въ сторонѣ, слегка улыбаясь. Я же смѣшался съ ними и жилъ съ ними и дѣлилъ ихъ радость отъ всей души, отъ полнаго сердца; и потому былъ ими любимъ и пользовался почти всеобщимъ довѣріемъ.

Чувство, преобладающее въ Славянахъ, есть ненависть къ Нѣмцамъ. Энергическое, хоть и не учтивое выраженіе «проклятый Нѣмецъ», выговариваемое на всѣхъ славянскихъ нарѣчьяхъ почти одинаковымъ образомъ, производитъ на каждаго Славянина неимовѣрное дѣйствіе; я нѣсколько разъ пробовалъ его силу и видѣлъ, какъ оно побѣждало самихъ Поляковъ. Достаточно было иногда побранить кстати Нѣмцовъ для того, чтобъ они позабыли и польскую исключительность, и ненависть къ Русскимъ, и хитрую, хоть не безполѣзную политику, заставляющую ихъ часто кокетничать съ Нѣмцами,—однимъ словомъ, для того чтобъ вырвать ихъ совершенно изъ той тѣсной, болѣзненной, искусственно-холодной оболочки, въ которой они живутъ поневолѣ, въ слѣдствіе великихъ національныхъ несчастій, для того чтобъ пробудить въ нихъ живое Славянское сердце и заставить ихъ чувствовать заодно со всѣми Славянами.—Въ Прагѣ, гдѣ поношенью Нѣмцовъ не было конца, я и съ самими Поляками чувствовалъ себя ближе. Ненависть къ Нѣмцамъ была неистощимымъ предметомъ всѣхъ разговоровъ; она служила вмѣсто привѣтствія между незнакомыми: когда два Славянина сходились, то первое слово между ними было почти всегда противъ Нѣмцовъ, какъ бы для того, чтобъ увѣрить другъ друга, что они оба истинные, добрые Славяне. Ненависть противъ Нѣмцовъ есть первое основанье Славянскаго единства и взаимнаго уразумѣнья Славянъ; она такъ сильна, такъ глубоко врѣзана въ сердце каждаго Славянина, что я и теперь увѣренъ, Государь, что рано или поздно, однимъ или другимъ образомъ, и какъ бы ни опредѣлились политическія отношенья Европы, Славяне свергнутъ нѣмецкое иго и что прійдетъ время, когда не будетъ болѣе ни Прусскихъ, ни Австрійскихъ, ни Турецкихъ Славянъ.

Важность Славянскаго Конгресса состояла, по моему мнѣнію, въ

томъ, что это было первое свиданье, первое знакомство, первая попытка соединенья и уразумѣнья Славянъ между собою. Что же касается до самаго Конгресса, то онъ, равно какъ и всѣ другіе современные конгрессы и политическія собранья, былъ рѣшительно пустъ и безсмысленъ.—О происхожденьи же Славянскаго Конгресса я знаю слѣдующее.

Въ Прагѣ существовалъ уже съ давнихъ времянъ ученый литературный кругъ, имѣвшій цѣлью сохраненье, поднятье и развитье Чешской литературы, Чешскихъ національныхъ обычаевъ, а также и Славянской національности вообще, подавляемой, стѣсняемой, презираемой Нѣмцами, равно какъ и Мажіарами [1]). Кружокъ сей находился въ живой и постоянной связи съ подобными кружками между Словаками, Хорватами, Словенцами, Сербами, даже между Лужитанами въ Саксоніи и Пруссіи,—и былъ какъ бы сказать ихъ главою. Палацкій, Шафарикъ, Графъ Тунъ, Ганка, Коларъ, Урбанъ, Людвигъ Штуръ и нѣсколько другихъ были предводителями Славянской пропаганды, сначала литературной, потомъ уже возвысившейся и до политическаго значенья. Австрійское Правительство ихъ не любило, но терпѣло, потому что они противудѣйствовали Мажіарамъ. Въ доказательство же и въ примѣръ ихъ дѣятельности я приведу только одно обстоятельство: тому назадъ десять, много пятнадцать лѣтъ въ Прагѣ никто, рѣшительно ни одна душа не говорила по Чешски, развѣ только чернь и работники; всѣ говорили и жили по нѣмецки, стыдились чешскаго языка и чешскаго происхожденья; теперь же напротивъ ни одинъ человѣкъ, ни женщины, ни дѣти не хотятъ говорить по нѣмецки, да и сами Нѣмцы въ Прагѣ выучились понимать и объясняться по Чешски. Я привелъ въ примѣръ только Прагу, но то же самое произошло и во всѣхъ другихъ богемскихъ, моравскихъ, словацкихъ большихъ и маленькихъ городахъ; села же никогда и не переставали жить и говорить по Славянски.—Вамъ, Государь, извѣстно, сколь глубоки и сильны симпатіи Славянъ къ могучему Русскому Царству, отъ котораго они надѣялись опоры и помощи, и до какой степени Австрійское Правительство, да и Нѣмцы вообще, боялись и боятся русскаго Панславизма!—Въ послѣдніе годы невинный литературно-ученый кружокъ расширился, укрѣпился, обхватилъ и увлекъ за собою всю молодежь, пустилъ корни въ народныя массы,—и литературное движенье превратилось вдругъ въ политическое;—Славяне ожидали только случая, чтобы явить себя міру.

Въ 1848 году этотъ случай обрѣлся. Австрійская Имперія чуть было не распалась на свои многоразличные, враждебно-противуположные, несовмѣстимые элементы, и если на время спаслась, то не своею одряхлѣвшею силою, только Вашею помощью, Государь! Возстали Итальянцы, возстали Мажіары и Нѣмцы, возстали, наконецъ, и Славяне. Австрійское

---

[1]) Т.-е. мадьярами. *Прим. ред.*

или лучше сказать Инспрукское [1]) Правительство, ибо тогда Австрійскихъ Правительствъ было много, по крайней мѣрѣ—два: одно дѣйствительное въ Инспрукѣ, другое официальное и конституціонное въ Вѣнѣ,—не говоря ужъ о третьемъ Венгерскомъ, также официально признанномъ Правительствѣ;—и такъ Династическое Правительство въ Инспрукѣ, покинутое всѣми и лишенное почти всякихъ средствъ, стало искать спасенья въ національномъ движеньи Славянъ.

Первая мысль собрать въ Прагѣ Славянскій конгрессъ принадлежитъ Чехамъ, а имянно Шафарику, Палацкому и Графу Туну. Въ Инспрукѣ ухватились за нее съ радостью, потому что надѣялись, что Славянскій конгрессъ будетъ служить противуядіемъ конгрессу Нѣмцовъ во Франкфуртѣ. Графъ Тунъ, Палацкій, Браунеръ создали тогда въ Прагѣ нѣчто въ родѣ провизорнаго Правительства; были признаны Инспрукомъ и относились съ нимъ прямо, помимо Вѣнскихъ Министровъ, которыхъ не хотѣли ни признавать, ни слушаться, видя въ нихъ враждебныхъ представителей Германской національности. Такимъ образомъ составилась полу-официальная чешская партія, полу-славянская и полу-правительственная; правительственная, потому что она хотѣла спасти династію, монархическое начало и цѣлость Австрійской Монархіи; однако не безусловно, требуя за то: во-первыхъ, конституціи, во-вторыхъ, перенесенья имперской Столицы изъ Вѣны въ Прагу, что имъ и было дѣйствительно обѣщано, разумѣется съ твердымъ намѣреньемъ не сдержать обѣщанья; и наконецъ совершеннаго превращенья Австрійской Монархіи изъ Нѣмецкой въ Славянскую, такъ что ужъ не Нѣмцы болѣе и не Мажіары притѣсняли бы Славянъ, но обратно.—Все это выразилъ Палацкій въ своей тогда явившейся брошюрѣ слѣдующими словами: «Wir wollen das Kunststück versuchen, die bis zu ihrem tiefsten Wesen erschütterten Österreichische Monarchie auf unserem slavischen Boden und mit unsern slavischen Kraft zu beleben, zu heilen und zu befestigen».—Предпріятье невозможное, въ которомъ они должны были быть или обманутыми или обманщиками.

Но Чешская партія не довольствовалась симъ общимъ преобладаньемъ Славянскаго элемента въ Австрійской Имперіи. Опираясь на свой полуофиціальный характеръ и на льстивыя инспрукскія обѣщанья, она хотѣла еще устроить въ свою пользу нѣчто въ родѣ чешской гегемоніи и утвердить между самими Славянами преобладанье чешскаго языка, чешской національности. Не говоря ужъ о Моравіи, она намѣревалась присоединить еще къ Богеміи Словацкую землю, Австрійскую Шлезію и даже Галицію, угрожая Полякамъ, въ случаѣ непокоренья, возмущеньемъ Руссиновъ;—хотѣли однимъ словомъ создать сильное Богемское королевство.

---

[1]) Т.-е. инсбрукское. *Прим. ред.*

Таковы были притязанья чешскихъ политиковъ. Они разумѣется встрѣтили сильное сопротивленье въ Словакахъ, въ Шлензакахъ, болѣе же всего въ Полякахъ. Послѣдніе пріѣхали въ Прагу совсѣмъ не для того, чтобъ покориться Чехамъ, да если правду сказать, такъ и не въ слѣдствіе чрезвычайнаго влеченья къ Славянскимъ братьямъ и къ Славянской мысли, а просто въ надеждѣ найти тутъ опору и помощь для своихъ особенныхъ національныхъ предпріятій.—Такимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ дней, произошла борьба не между массами пріѣзжихъ Славянъ, только между ихъ предводителями, сильнѣе же всѣхъ борьба между Поляками и Чехами, между Поляками и Руссинами,—борьба, кончившаяся ни чѣмъ, какъ и весь славянскій конгрессъ.—Южные Славяне были чужды всѣмъ преньямъ и занимались исключительно пріуготовленьями къ Венгерской войнѣ, уговаривая и протчихъ Славянъ отложить всѣ внутренніе вопросы до совершеннаго низложенья Мажіаръ и, какъ иные говорили, до совершеннаго изгнанья оныхъ изъ Венгріи. Поляки ни на то, ни на другое не соглашались, предлагали же свое посредничество, котораго ни южные Славяне, да, сколько я слышалъ, и самые Мажіары не захотѣли принять.—Однимъ словомъ всѣ тянули на свою сторону и всѣ желали сдѣлать себѣ изъ другихъ скамью для своего собственнаго возвышенья; болѣе всѣхъ Чехи, избалованные Инспрукскими комплиментами, а потомъ и Поляки, избалованные не судьбою, но комплиментами европейскихъ демократовъ.

Конгрессъ состоялъ изъ трехъ отдѣленій: Сѣверное, въ которомъ были: Поляки, Руссины, Шлензаки; Западное, состоявшее изъ Чеховъ, Моравовъ, Словаковъ, и Южное, въ которомъ засѣдали Сербы, Хорваты, Словенцы и Далматы. По первоначальному опредѣленью Палацкаго, главнаго изобрѣтателя и руководителя Славянскаго конгресса, конгрессъ сей долженъ былъ исключительно состоять изъ австрійскихъ Славянъ, не австрійскіе же должны были присутствовать въ немъ только какъ гости; но опредѣленье сіе было въ самомъ началѣ отвергнуто; вошли въ конгрессъ не какъ гости, но какъ дѣйствительные члены, много Поляковъ изъ Познани, польскіе эмигранты, нѣсколько турецкихъ Сербовъ, и наконецъ двое Русскихъ: я, да еще одинъ старообрядческій попъ, котораго позабылъ фамилью,—ее можно впротчемъ найти въ печатномъ отчетѣ Шафарика о Славянскомъ конгрессѣ,—попъ или вѣрнѣе монахъ изъ старообрядческаго монастыря, существовавшаго въ Буковинѣ съ своимъ особеннымъ митрополитомъ и уничтоженнаго кажется въ это же самое время по требованью Русскаго Правительства; онъ ѣздилъ съ отставленнымъ митрополитомъ въ Вѣну, потомъ, услышавъ о Славянскомъ конгрессѣ, пріѣхалъ одинъ въ Прагу.

Я вступилъ въ Сѣверное, т.-е. въ Польское, отдѣленье и при вступленьи произнесъ короткую рѣчь, въ которой сказалъ, что Россія, отторгнувшись отъ Славянской братіи черезъ порабощенье Польши, особенно

же предавъ ее въ руки Нѣмцевъ, общихъ и главныхъ враговъ всего Славянскаго племени, не можетъ иначе возвратиться къ Славянскому единству и братству, какъ черезъ освобожденье Польши, и что поэтому мое мѣсто на Славянскомъ конгрессѣ должно быть между Поляками. Поляки приняли меня съ рукоплесканьями и выбрали депутатомъ въ южно-славянское отдѣленье, сообразно съ моимъ собственнымъ желаньемъ. Старообрядческій попъ вмѣстѣ со мною вступилъ въ отдѣленье Поляковъ и по моему ходатайству былъ даже избранъ ими въ общее собранье, состоявшее изъ депутатовъ трехъ главныхъ групповъ.—Я не скрою отъ Васъ, Государь, что мнѣ приходило на мысль употребить этого попа на революціонерную пропаганду въ Россіи. Я зналъ, что на Руси много старообрядцевъ и другихъ расколовъ и что русскій народъ склоненъ къ религіозному фанатизму. Попъ же мой былъ человѣкъ хитрый, смышленный, настоящій русскій плутъ и пройдоха, бывалъ въ Москвѣ, зналъ много о старообрядцахъ да и расколахъ вообще въ Русской Имперіи, да кажется, что и монастырь-то его находился въ постоянной связи съ русскими старообрядцами. Но я не имѣлъ времяни заняться имъ, сомнѣвался отчасти въ нравственности такого сообщества, не имѣлъ еще опредѣленнаго плана для дѣйствія, ни связей, а главное не имѣлъ денегъ; безъ денегъ же съ такими людьми и говорить нечего. Къ тому же я былъ въ это время исключительно занятъ Славянскимъ вопросомъ, видѣлъ его рѣдко, а потомъ и совсѣмъ потерялъ его изъ виду.

Дни текли, конгрессъ не двигался. Поляки занимались регламентомъ, парламентскими формами, да Руссинскимъ вопросомъ; вопросы болѣе важные переговаривали не на конгрессѣ, а въ собраньяхъ особенныхъ и не такъ многочисленныхъ. Я въ сихъ собраньяхъ не учавствовалъ, слышалъ только, что въ нихъ продолжались отчасти Бреславскія распри и была сильно рѣчь о Коссутѣ [1]) и о Мажіарахъ, съ которыми, если не ошибаюсь, Поляки уже въ то время начинали имѣть положительныя сношенья, къ великому неудовольствію протчихъ Славянъ.—Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные Славяне—предстоявшей войною. Объ общемъ Славянскомъ вопросѣ мало кто думалъ. Мнѣ опять стало тоскливо и я началъ чувствовать себя въ Прагѣ въ такомъ же уединеньи, въ какомъ былъ прежде въ Парижѣ и въ Германіи.—Я нѣсколько разъ говорилъ въ польскомъ, въ южно-славянскомъ, а также и въ общемъ собраніи; вотъ главное содержанье моихъ рѣчей:

«Зачѣмъ вы съѣхались въ Прагу? Для того ли чтобъ толковать здѣсь о своихъ провинціальныхъ интересахъ? Или для того чтобъ слить всѣ частныя дѣла Славянскихъ народовъ, ихъ интересы, требованья, вопросы въ одинъ нераздѣльный, великій Славянскій вопросъ? Начните же заниматься имъ и покорите всѣ частныя требованья славянскому дѣлу. Наше

---

[1]) Т.-е. Кошуте. *Прим. ред.*

собранье есть первое Славянское Собранье; мы должны положить здѣсь начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всѣхъ славянскихъ племенъ, соединенныхъ отнынѣ въ одно нераздѣльное и великое политическое тѣло».

«И во-первыхъ спросимъ себя, наше Собранье есть ли только собранье австрійскихъ Славянъ или вообще Славянское Собранье? Какой смыслъ выраженья: Австрійскіе Славяне? Славяне, живущіе въ Австрійской Имперіи, не болѣе, а если вы хотите, такъ пожалуй: славяне, порабощенные Австрійскими Нѣмцами. Если жъ вы хотите ограничить ваше собранье представителями только Австрійскихъ Славянъ, какимъ правомъ называете вы его Славянскимъ? Вы исключаете всѣхъ Славянъ Россійской Имперіи, Славянъ подданныхъ Пруссіи, Турецкихъ Славянъ; меньшинство исключаетъ огромное большинство и смѣетъ называть себя Славянскимъ! Называйте жъ себя Нѣмецкими Славянами и Конгрессъ вашъ—Конгрессомъ нѣмецкихъ рабовъ, а не Славянскимъ Конгрессомъ.

«Я знаю, многіе изъ васъ надѣются на опору Австрійской династіи. Она теперь вамъ все обѣщаетъ, она вамъ льститъ, потому что вы ей необходимы; но сдержитъ ли она свои обѣщанья и будетъ ли имѣть возможность сдержать ихъ, когда вашею помощью возстановитъ свою падшую власть? Вы говорите, что сдержитъ, я же увѣренъ, что нѣтъ. Первый законъ всякаго Правительства есть законъ самосохраненья; ему покорены всѣ нравственные законы, и нѣтъ еще въ исторіи примѣра, чтобъ какое правительство сдержало безъ принужденья обѣщанья, данныя имъ въ критическую минуту. Вы увидите, Австрійская династія не только что позабудетъ ваши услуги, но будетъ мстить вамъ за свою прошедшую постыдную слабость, принуждавшую ее унижаться передъ вами и льстить вашимъ крамольнымъ требованьямъ. Исторія Австрійской династіи богаче другихъ такими примѣрами, и вы, ученые Чехи, вы, знающіе такъ хорошо и такъ подробно прошедшія несчастія своей родины, вы должны бы были понимать лучше другихъ, что не любовь къ Славянамъ и не любовь къ Славянской независимости и къ Славянскому языку и къ Славянскимъ нравамъ и обычаямъ, но единственно только желѣзная необходимость заставляетъ ее нынѣ искать вашей дружбы.

«Наконецъ, предположивъ даже невозможное, предположивъ, что Австрійская династія захочетъ въ самомъ дѣлѣ и будетъ въ состояніи соблюсти данное слово, какія будутъ ваши пріобрѣтенья? Австрія изъ полу-Нѣмецкаго Государства превратится въ полу-Славянское; это значитъ, что вы изъ притѣсняемыхъ превратитесь въ притѣснителей, изъ ненавидящихъ—въ ненавистныхъ; это значитъ, что вы, малочисленные австрійскіе Славяне, отторгнетесь отъ Славянскаго большинства, что вы сами разрушите всякую надежду на Соединенье Славянъ, на то великое Славянское Единство, которое по крайнѣй мѣрѣ въ вашихъ словахъ есть первый и главный предметъ вашихъ желаній.—Славянское единство,

Славянская Свобода, Славянское возрожденье не иначе возможны какъ черезъ совершенное разрушенье Австрійской Имперіи.

«Не мѣнѣе ошибаются и тѣ, которые для возстановленья Славянской Независимости надѣются на помощь Русскаго Царя. Русскій Царь заключилъ новый тѣсный союзъ съ Австрійскою Династіею не за васъ, но противъ васъ, не для того чтобы помогать вамъ, а для того, чтобы возвратить васъ насильно, васъ, равно какъ и всѣхъ протчихъ бунтующихъ Австрійскихъ подданныхъ, въ старое подданство, къ старому безусловному повиновенью. Императоръ Николай не любитъ ни народной свободы, ни конституцій; вы видѣли живой примѣръ въ Польшѣ. Я знаю, что Русское Правительство уже съ давнихъ временъ обрабатываетъ васъ, равно какъ и Турецкихъ Славянъ, своими агентами, которые объѣзжаютъ Славянскія земли, распространяя между вами панславистическія мысли, обольщая васъ надеждою на скорую помощь, на приближающееся будто бы освобожденье всѣхъ Славянъ могучею силою Русскаго Царства! И не сомнѣваюсь, что оно видитъ въ далекой, въ весьма далекой будущности, моментъ, когда всѣ славянскія земли войдутъ въ составъ Россійской Имперіи. Но никто изъ насъ не доживетъ до желаннаго часу, хотите вы ждать до тѣхъ поръ? Не вы одни, Славянскіе народы успѣютъ одряхлѣть до того времени.—Теперь же вамъ нѣтъ мѣста въ недрахъ Русскаго Царства: вы хотите жизни, а тамъ мертвое молчанье; требуете самостоятельности, движенья, а тамъ механическое послушанье; желаете воскрѣсенья, возвышенья, просвѣщенья, освобожденья; а тамъ смерть, темнота и рабская работа. Войдя въ Россію Императора Николая, вы вошли бы во гробъ всякой народной жизни и всякой свободы.—Правда, что безъ Россіи Славянское единство не полно и нѣтъ Славянской силы; но безумно было бы ждать спасенья и помощи для Славянъ отъ настоящей Россіи. Что жъ остается вамъ? Соединитесь сначала внѣ Россіи, не исключая ея, но ожидая, надѣясь на ея скорое освобожденье; и она увлечется вашимъ примѣромъ и вы будете освободителями Россійскаго Народа, который въ свою очередь будетъ потомъ вашею силою и вашимъ щитомъ.

«Начните же свое соединенье слѣдующимъ образомъ: объявите, что вы Славяне не Австрійскіе, а живущіе на Славянской Землѣ въ такъ называемой Австрійской Имперіи, сошлись и соединились въ Прагѣ для заложенья перваго основанья будущей вольной и великой федераціи всѣхъ Славянскихъ народовъ и что, въ ожиданьи присоединенья Славянскихъ братій къ Русской Имперіи, въ Прусскихъ владѣньяхъ, въ Турціи,—вы, Чехи, Моравы, Поляки изъ Галиціи и Кракова, Руссины, Шлензаки, Словаки, Сербы, Словенцы, Хорваты и Далматы, заключили между собою крѣпкій и неразрывный, оборонительный и наступательный союзъ, на слѣдующихъ основаньяхъ».

Я не стану высчитывать здѣсь всѣхъ пунктовъ, придуманныхъ мною;

скажу только, что проектъ сей, напечатанный потомъ, впротчемъ безъ моего вѣдома и только отрывкомъ въ одномъ изъ Чешскихъ журналовъ, былъ составленъ въ демократическомъ духѣ; что онъ оставлялъ много простору національнымъ и провинціальнымъ различьямъ во всемъ, что касалось административнаго управленья, полагая впротчемъ и тутъ нѣкоторыя основныя опредѣленья, общія и обязательныя для всѣхъ; но что во всемъ касавшемся внутренней, какъ и внѣшней политики, власть была перенесена и сосредоточена въ рукахъ центральнаго Правительства. Такимъ образомъ и Поляки и Чехи должны были исчезнуть со всѣми своекорыстными и самолюбивыми притязаньями въ общемъ Славянскомъ союзѣ.—Я совѣтовалъ также Конгрессу требовать отъ Инспрукскаго, тогда еще всеуступавшаго Двора офиціальнаго признанья Союза и тѣхъ же самыхъ уступокъ, которыя оно незадолго передъ тѣмъ сдѣлало Мажіарамъ, а посему не могло отказать своимъ добрымъ и вѣрнымъ Славянамъ, какъ-то: особеннаго Славянскаго Министерства, особеннаго Славянскаго войска съ Славянскими офицерами и особенныхъ Славянскихъ финансъ. Совѣтовалъ также требовать возвращенья Хорватскихъ и другихъ Славянскихъ полковъ изъ Италіи; совѣтовалъ наконецъ послать повѣреннаго въ Венгрію, къ Коссуту, уже не отъ имяни бана Іелачича, но во имя всѣхъ соединенныхъ Славянъ, для того чтобъ разрѣшить мирнымъ образомъ Мажіаро-Славянскій вопросъ и предложить Мажіарамъ, равно какъ и Седьмиградскимъ Валахамъ, вступить въ Славянскій, или пожалуй въ восточно-республиканскій Союзъ, на правахъ, равныхъ со всѣми Славянами.

Признаюсь, Государь, что, подавая такой проектъ Славянскому Конгрессу, я имѣлъ въ виду совершенное разрушенье Австрійской Имперіи, разрушенье въ обоихъ случаяхъ: въ случаѣ принужденнаго согласья, а также и въ случаѣ отказа, который бы привелъ Династію въ гибельную коллизію съ Славянами. Другая же и главная цѣль моя была, найти въ соединенныхъ Славянахъ точку отправленья для широкой революціонерной пропаганды въ Россіи, для начала борьбы противъ Васъ, Государь!— Я не могъ соединиться съ Нѣмцами: это была бы война Европы, и что еще хуже война Германии противъ Россіи; съ Поляками также не могъ соединиться; они мнѣ плохо вѣрили, да и мнѣ самому, когда я узналъ ближе ихъ національный характеръ, ихъ неисцѣлимый, хоть исторически и понятный мнѣ эгоизмъ, мнѣ самому стало ужъ совѣстно и совершенно невозможно мѣшаться съ Поляками, дѣйствовать съ ними заодно противъ родины. Въ Славянскомъ же союзѣ я видѣлъ напротивъ отечество еще шире, въ которомъ, лишь бы только Россія къ нему присоединилась, и Поляки и Чехи должны бы были уступить ей первое мѣсто.

Я нѣсколько разъ употребилъ выраженье: «революціонерная пропаганда въ Россіи»; пора же мнѣ наконецъ объяснить, какимъ образомъ я разумѣлъ сію пропаганду, какія у меня были на то надежды и

средства.—Прежде всего, Государь, я долженъ торжественно объявить Вамъ, что у меня ни прежде, ни въ это время, ни потомъ не было не только что связей, но даже ни тѣни, ниже начала сношеній съ Россіею и съ Русскими, и ни съ однимъ человѣкомъ, живущимъ въ предѣлахъ Вашей Имперіи. Отъ 1842-го года я не получилъ изъ Россіи болѣе десяти писемъ и самъ едва написалъ столько же; въ письмахъ же сихъ не было даже и воспоминанья о политикѣ. Въ 1848-мъ году я надѣялся было войти въ сношенья съ Русскими, живущими на Познанской и Галиційской границахъ; для этого мнѣ была необходима помощь Поляковъ, но съ Поляками, какъ я уже нѣсколько разъ изъяснялъ, я не могъ или не умѣлъ сойтиться; самъ же не былъ ни разу ни въ Познанскомъ Герцогствѣ, ни въ Краковѣ, ни въ Галиціи, а также и не зналъ ни одного жителя сихъ провинцій, про котораго могъ бы утвердительно и по совѣсти сказать, что онъ имѣлъ отношенье съ Царствомъ Польскимъ или съ Украйною. Да и не думаю, чтобъ Поляки въ это время имѣли частыя сношенья съ пограничными Провинціями Россійской Имперіи; они жаловались на трудность сообщеній, на живую, непроходимую стѣну, которою она себя окружила. Доходили же только глухіе, большею частью безсмысленные слухи: такъ напримѣръ пронесся разъ слухъ о бунтѣ въ Москвѣ и о будто бы вновь открытомъ Русскомъ заговорѣ; другой разъ, что будто бы Русскіе офицеры заколотили пушки на Варшавской Цитадели, и тому подобные пустяки, въ которые я, несмотря на все безумье, въ которое былъ самъ погруженъ, никогда не вѣрилъ.

Всѣ мои предпріятья остались въ мыслѣ не потому, чтобы я тогда не хотѣлъ, но потому что не могъ дѣйствовать, не имѣя ни путей, ни средствъ для пропаганды.—Графъ Орловъ сказалъ мнѣ, что Правительству было донесено, что будто бы я говорилъ за границею о своихъ сношеньяхъ съ Россіею, особенно съ Малороссіею. На это я могу сказать только одно: я никогда не любилъ лгать, а потому и не говорилъ и не могъ говорить о сношеньяхъ, которыхъ у меня не было. Слышалъ же объ Украйнѣ отъ Польскихъ помѣщиковъ, живущихъ въ Галиціи, слышалъ, что будто бы въ слѣдствіе освобожденья Галиційскихъ крестьянъ въ началѣ 1848-го года, и Малороссійскіе крестьяне въ Волынѣ, въ Подоли, равно какъ и въ Кіевской Губерніи, пришли въ такое сильное волненье, что многіе помѣщики, опасаясь за жизнь свою, уѣхали въ Одессу.—Вотъ рѣшительно все, что я слышалъ о Малороссіи; очень можетъ быть что потомъ я публично говорилъ о семъ извѣстіи, потому что хватался рѣшительно за все, что хоть нѣсколько могло поддержать или лучше сказать пробудить въ Европейской, особенно же въ Славянской публикѣ вѣру въ возможность, въ необходимость русской революціи.

Я долженъ сдѣлать тутъ одно замѣчанье.—Обреченный предыдущей жизнью, понятьями, положеньемъ, неудовлетворенною потребностью дѣйствія, а также и волею на несчастную революціонерную карьеру, я не

могъ оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своихъ отъ Россіи; въ слѣдствіе этого не могъ имѣть другаго круга дѣйствія, кромѣ Россіи; въ слѣдствіе этого долженъ былъ вѣрить или лучше сказать долженъ былъ заставлять себя и другихъ вѣрить въ русскую революцію. То, что въ этомъ письмѣ я сказалъ о Мицкевичѣ, можетъ быть, хоть и не въ томъ размѣрѣ, примѣнено ко мнѣ самому: я былъ въ то же время обманутымъ и обманщикомъ, обольщалъ себя и другихъ, какъ бы насильствуя мой собственный умъ и здравый смыслъ моихъ слушателей.—По природѣ я не шарлатанъ, Государь; напротивъ—ничто такъ не противно мнѣ, какъ шарлатанизмъ, и никогда жажда простой, чистой истины не угасала во мнѣ; но неестественное, несчастное положенье, въ которое я впротчемъ самъ привелъ себя, заставляло меня иногда быть шарлатаномъ противъ воли. Безъ связей, безъ средствъ, одинъ съ своими замыслами посреди чуждой толпы, я имѣлъ только одну сподвижницу: вѣру, и говорилъ себѣ, что вѣра переноситъ горы, разрушаетъ преграды, побѣждаетъ непобѣдимое и творитъ невозможное; что одна вѣра есть уже половина успѣха, половина побѣды: совокупленная съ сильною волею, она рождаетъ обстоятельства, рождаетъ людей, собираетъ, соединяетъ, сливаетъ массы въ одну душу и силу; говорилъ себѣ, что, вѣруя самъ въ русскую революцію и заставивъ вѣрить въ нее другихъ, Европейцевъ, особливо Славянъ, въ послѣдствіи же и Русскихъ, я сдѣлаю революцію въ Россіи возможною, необходимою. Однимъ словомъ, я хотѣлъ вѣрить, хотѣлъ, чтобъ вѣрили другіе. Не безъ труда и не безъ тяжкой борьбы доставалась мнѣ сія ложная, искусственная, насильственная вѣра; не разъ въ уединенныхъ минутахъ находили на меня мучительныя сомнѣнья, сомнѣнья и въ нравственности и въ возможности моего предпріятья; не разъ слышался мнѣ внутренній, укоряющій голосъ и не разъ повторялъ я себѣ слова, сказанныя Апостолу Павлу, когда онъ назывался еще Савломъ: «Жестоко же есть противу рожна прати!»—Но все было напрасно: я заглушалъ въ себѣ совѣсть и отвергалъ сомнѣнья, какъ недостойныя.—Я зналъ Россію мало; восемь лѣтъ жилъ за границею, а когда жилъ въ Россіи, былъ такъ исключительно занятъ нѣмецкою философіею, что ничего вокругъ себя не видѣлъ. Къ тому же изученіе Россіи, безъ особенной помощи Правительства, трудно, почти невозможно даже и тѣмъ, которые стараются знать ее; а изученье простого народа, крестьянъ, мнѣ кажется трудно и самому Правительству.—За границею, когда вниманье мое устремилось въ первый разъ на Россію, я сталъ вспоминать, собирать старыя, безсознательныя впечатлѣнья, и отчасти изъ нихъ, отчасти изъ разныхъ доходившихъ до меня слуховъ создалъ себѣ фантастическую Россію, готовую къ революціи,—натягивая или обрѣзывая, на Прокрустовской кровати моихъ демократическихъ желаній, каждый фактъ, каждое обстоятельство.—Вотъ какимъ образомъ я обманывалъ себя и другихъ. Я никогда не говорилъ ни о своихъ связяхъ, ни о своемъ вліяньи въ Россіи:

это была бы ложь, а ложь была мнѣ противна; но когда вокругъ меня предполагали, что я имѣю влiянье, имѣю положительныя связи, я молчалъ, не противурѣчилъ, ибо въ этомъ мнѣньи находилъ почти единственную опору для своихъ предпрiятiй. Такимъ образомъ должны были произойти многiе пустые, ни на чемъ не основанные слухи, дошедшiе вѣроятно потомъ и до Правительства.

Русской пропаганды не было посему и въ зародышѣ, она существовала только въ моей мыслѣ. Но какимъ образомъ существовала она въ моей мыслѣ? Постараюсь отвѣчать на этотъ вопросъ со всевозможною искренностью и подробностью.—Государь! тяжелы мнѣ будутъ сiи признанья!—Не то, чтобы я опасался возбудить ими праведный гнѣвъ Вашего Императорскаго Величества и навлечь на себя казнь жесточайшую;—отъ 1848-го года, особенно же со времени моего заключенья, я успѣлъ перейти через столько различныхъ положенiй и впечатлѣнiй: ожиданiй, горькихъ опытов и горькихъ предчувствiй, надеждъ, опасенiй и страховъ, что душа моя наконецъ окалилась, притупилась, и мнѣ кажется, что и надежда и страхъ потеряли на нее всякое влiянье!—Нѣтъ, Государь, но мнѣ тяжко, совѣстно, стыдно говорить Вамъ въ глаза о преступленьяхъ, замышленныхъ мною собственно противъ Васъ и противъ Россiи, хоть преступленья сiи были только преступленья въ мыслѣ, въ намѣреньи и никогда не переходили въ дѣйствiе.

Еслибъ я стоялъ передъ Вами, Государь, только какъ передъ Царемъ-Судьею, я могъ бы избавить себя отъ сей внутренней муки, не входя въ безполезныя подробности. Для праведнаго примѣненья карающихъ законовъ довольно бы было, еслибъ я сказалъ: «я хотѣлъ всѣми силами и всѣми возможными средствами вдохнуть революцiю въ Россiю; хотѣлъ ворваться въ Россiю и бунтовать противъ Государя и разрушить въ конецъ существующiй порядокъ. Если жъ не бунтовалъ и не начиналъ пропаганды, то единственно только потому, что не имѣлъ на то средствъ, а не по недостатку воли».—Законъ былъ бы удовлетворенъ, ибо такое признанье достаточно для осужденья меня на жесточайшую казнь, существующую въ Россiи.—Но по чрезвычайной милости Вашей, Государь, я стою теперь не такъ передъ Царемъ-Судьею, какъ передъ Царемъ Исповѣдникомъ, и долженъ показать Ему всѣ сокровенные тайники своей мысли.—Буду же самъ себя исповѣдывать передъ Вами; постараюсь внести свѣтъ въ хаосъ своихъ мыслей и чувствъ, для того чтобъ изложить ихъ въ порядкѣ; буду говорить передъ Вами какъ бы говорилъ передъ самимъ Богомъ, Котораго нельзя обмануть ни лѣстью, ни ложью. Васъ же молю, Государь! позвольте мнѣ позабыть на минуту, что я стою передъ великимъ и страшнымъ Царемъ, передъ Которымъ дрожатъ миллiоны, въ присутствiи Котораго никто не дерзаетъ не только произнести, но даже и возымѣть противнаго мнѣнья!—дайте мнѣ подумать, что я теперь говорю только передъ своимъ духовнымъ Отцемъ.

Я хотѣлъ революціи въ Россіи.—Первый вопросъ: почему я желалъ оной?—Второй вопросъ: какого порядка вѣщей желалъ я на мѣсто существующаго порядка? И, наконецъ, третій вопросъ: какими средствами и какими путями думалъ я начать революцію въ Россіи?

Когда обойдешь міръ, вездѣ найдешь много зла, притѣсненій, неправды, а въ Россіи, можетъ быть, болѣе, чѣмъ въ другихъ Государствахъ. Не оттого, чтобъ въ Россіи люди были хуже, чѣмъ въ Западной Европѣ; напротивъ, я думаю, что русскій человѣкъ лучше, добрѣе, шире душой, чѣмъ западный; но на Западѣ противъ зла есть лѣкарства: публичность, общественное мнѣнье, наконецъ свобода, облагороживающая и возвышающая всякаго человѣка. Это лѣкарство не существуетъ въ Россіи. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что въ ней всякое зло выходитъ въ наружу, мало что остается тайнымъ. Въ Россіи же всѣ болѣзни входятъ во внутрь, съѣдаютъ самый внутренній составъ общественнаго организма. Въ Россіи главный двигатель страхъ, а страхъ убиваетъ всякую жизнь, всякій умъ, всякое благородное движеніе души. Трудно и тяжело жить въ Россіи человѣку любящему правду, человѣку любящему ближняго, уважающему равно во всѣхъ людяхъ достоинство и независимость безсмертной души! человѣку, терпящему однимъ словомъ не только отъ притѣсненій, которыхъ онъ самъ бываетъ жертва, но и отъ притѣсненій, падающихъ на сосѣда!—Русская общественная жизнь есть цѣпь взаимныхъ притѣсненій: Высшій гнететъ Низшаго; сей терпитъ, жаловаться не смѣетъ, но за то жметъ еще Низшаго, который также терпитъ и также мститъ на ему Подчиненномъ. Хуже же всѣхъ приходится простому народу, бѣдному русскому мужику, который, находясь на самомъ низу общественной лѣстницы, ужъ никого притѣснять не можетъ и долженъ терпѣть притѣсненья отъ всѣхъ, по этой русской же пословицѣ: «Насъ только лѣнивый не бьетъ!»

Вездѣ воруютъ и берутъ взятки и за деньги творятъ неправду!—и во Франціи, и въ Англіи, и въ честной Германіи; въ Россіи же, думаю болѣе, чѣмъ въ другихъ Государствахъ. На Западѣ публичный воръ рѣдко скрывается, ибо на каждаго смотритъ тысяча глазъ и каждый можетъ открыть воровство и неправду, и тогда ужъ никакое министерство не въ силахъ защитить вора.—Въ Россіи же иногда и всѣ знаютъ о ворѣ, о притѣснителѣ, о творящемъ неправду за деньги; всѣ знаютъ, но всѣ же и молчатъ, потому что боятся; и само начальство молчитъ, зная и за собою грѣхи, и всѣ заботятся только объ одномъ, чтобы не узнали Министръ, да Царь.—А до Царя далеко, Государь, такъ же какъ и до Бога высоко!—Въ Россіи трудно и почти невозможно чиновнику быть не воромъ. Во-первыхъ, всѣ вокругъ него крадутъ; привычка становится природою, и что прежде приводило въ негодованье, казалось противнымъ, скоро становится естественнымъ, неизбѣжнымъ, необходимымъ; во-вто-

рыхъ, потому, что подчиненный долженъ самъ часто, въ томъ или другомъ видѣ, платить подать начальнику; и наконецъ потому, что если кто и вздумаетъ остаться честнымъ человѣкомъ, то и товарищи и начальники его возненавидятъ; сначала прокричатъ его чудакомъ, дикимъ, необщественнымъ человѣкомъ, а если не исправится, такъ, пожалуй, и либераломъ, опаснымъ вольнодумцемъ, и тогда ужъ не успокоятся прежде, чѣмъ его совсѣмъ не задавятъ и не сотрутъ его съ лица земли.—Изъ низшихъ же чиновниковъ, воспитанныхъ въ такой школѣ, дѣлаются со временемъ высшіе, которые въ свою очередь, и тѣмъ же самымъ способомъ, воспитываютъ вступающую молодежь;—и воровство и неправда и притѣсненья въ Россіи живутъ и растутъ какъ тысячечленный полипъ, котораго какъ не руби и не рѣжь, онъ никогда не умираетъ.

Одинъ страхъ противу сей всепоѣдающей болѣзни не дѣйствителенъ. Онъ приводитъ въ ужасъ, останавливаетъ на время, но на короткое время. Человѣкъ привыкаетъ ко всему, даже и къ страху: Везувій окруженъ селеньями и самое то мѣсто, гдѣ зарыты Геркуланъ и Помпея, покрыто живущими; въ Швейцаріи, многолюдныя деревни живутъ иногда подъ треснувшимъ утесомъ, и всѣ знаютъ, что онъ каждый день, каждый часъ можетъ повалиться и что въ страшномъ паденьи онъ обратитъ въ прахъ все подъ нимъ обрѣтающееся, и никто не двинется съ мѣста, утѣшая себя мыслью, что авось еще долго не упадетъ. Такъ и русскіе чиновники, Государь! они знаютъ, сколь гнѣвъ Вашъ бываетъ ужасенъ и Ваши наказанья строги, когда до Васъ доходитъ извѣстье о какой неправдѣ, о какомъ воровствѣ; и всѣ дрожатъ при одной мысли Вашего гнѣва, и все-таки продолжаютъ и красть и притѣснять и творить неправду! Отчасти потому, что трудно отстать отъ старой, закоренѣлой привычки, отчасти потому, что каждый затянутъ, запутанъ, обязанъ другими вмѣстѣ съ нимъ воровавшими и ворующими ворами, болѣе же всего потому, что всякій утѣшаетъ себя мыслью, что онъ будетъ дѣйствовать такъ осторожно и пользуется такою сильною воровскою же протекціею, что никогда его прегрѣшенья не дойдутъ до Вашего слуха.

Одинъ страхъ недѣйствителенъ. Противъ такого зла необходимы другія лѣкарства: благородство чувствъ, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совѣсти, уваженье человѣческаго достоинства въ себѣ и въ другихъ, а, наконецъ, и публичное презрѣнье ко всѣмъ безчестнымъ, безчеловѣчнымъ людямъ, общественный стыдъ, общественная совѣсть! Но этѣ качества, силы цвѣтутъ только тамъ, гдѣ есть для души вольной просторъ, не тамъ, гдѣ преобладаютъ рабство и страхъ; сихъ добродѣтелей въ Россіи боятся, не потому, чтобъ ихъ не любили, но опасаясь, чтобъ съ ними не завелись и вольныя мысли...

Я не смѣю входить въ подробности, Государь! Смѣшно и дерзко было бы, если бъ я сталъ говорить Вамъ о томъ, что Вы Сами въ милліонъ разъ лучше знаете, чѣмъ я.—Я же мало знаю Россію, и что зналъ

объ ней, высказалъ въ своихъ немногочисленныхъ статьяхъ и брошюрахъ, а также и въ защитительномъ письмѣ, написанномъ мною въ крѣпости Königstein. Я говорилъ въ нихъ часто въ выраженьяхъ дерзостныхъ и преступныхъ противъ Васъ, Государь, въ болѣзненно-горячешномъ духѣ и тонѣ, грѣша противъ русской пословицы: «изъ избы сору не выносить»,—но сообразно своимъ тогдашнимъ убѣжденьямъ, такъ что все ложное и невѣрное въ нихъ можетъ быть приписано незнанью Россіи, моему немощному уму, а не сердцу.

Болѣе всего поражало и смущало меня несчастное положенье, въ которомъ обрѣтается нынѣ такъ называемый черный народъ, русскій добрый и всѣми угнетенный мужикъ. Къ нему я чувствовалъ болѣе симпатіи, чѣмъ къ протчимъ классамъ, несравненно болѣе, чѣмъ къ безхарактерному и блудному сословію русскихъ дворянъ. На немъ основывалъ всѣ надежды на возрожденье, всю вѣру на великую будущность Россіи; въ немъ видѣлъ свѣжесть, широкую душу, умъ свѣтлый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу;—и думалъ, что бы былъ этотъ народъ, если бы ему дали свободу и собственность, если бъ его выучили читать и писать! И спрашивалъ, почему нынѣшнее Правительство, Самодержавное, вооруженное безграничною властью, не ограниченное по закону и въ дѣлѣ, ни какимъ чуждымъ правомъ, ни единою соперничествующею Силою,—почему оно не употребитъ своего Всемогущества на освобожденье, на возвышенье, на просвѣщенье русскаго народа? И много другихъ вопросовъ, связанныхъ съ симъ главнымъ, основнымъ представлялись душѣ моей!—И вмѣсто того, чтобъ отвѣчать на нихъ, какъ долженъ отвѣчать, на подобныя сомнѣнья, каждый подданный Вашего Императорскаго Величества: «Не мое дѣло разсуждать о сихъ предметахъ, знаютъ Государь да начальство, мое же дѣло повиноваться»; вмѣсто другого отвѣта, также не лишеннаго основанья и служащаго основаньемъ первому: Правительство смотритъ на всѣ вопросы съ верху, обнимая всѣ въ одно время; я же, смотря на нихъ съ низу, не могу видѣть всѣхъ препятствій, всѣхъ трудностей, обстоятельствъ и современныхъ условій какъ внутренней, такъ и внѣшней политики; поэтому и не могу опредѣлить удобнаго часу для всякаго дѣйствія; — вмѣсто сихъ отвѣтовъ, я дерзостно и крамольно отвѣчалъ въ умѣ и въ писаньяхъ своихъ: «Правительство не освобождаетъ Русскаго Народа, во-первыхъ, потому, что при всемъ Всемогуществѣ Власти, неограниченной по Праву, оно въ самомъ дѣлѣ ограничено множествомъ обстоятельствъ, связано невидимыми путями, связано своею развращенною администраціею, связано наконецъ эгоизмомъ дворянъ. Еще же болѣе потому, что оно дѣйствительно не хочетъ ни свободы, ни просвѣщенья, ни возвышенья Русскаго Народа, видя въ немъ только бездушную машину для завоеваній въ Европѣ!» — Отвѣтъ сей, совершенно противный моему вѣрноподданническому долгу, не противурѣчилъ моимъ демократическимъ понятьямъ.

Могли бы спросить меня: Какъ думаешь ты теперь?—Государь! Трудно мнѣ будетъ отвѣчать на этотъ вопросъ!—Въ продолженье болѣе чѣмъ двухлѣтняго одинокаго заключенья, я успѣлъ многое передумать и могу сказать, что никогда въ жизнѣ такъ серьезно не думалъ, какъ въ это время: я былъ одинъ, далеко отъ всѣхъ обольщеній, былъ наученъ живымъ и горькимъ опытомъ. Еще болѣе усумнился я въ истиннѣ многихъ старыхъ мыслей, когда, въѣхавъ въ Россію, нашелъ въ ней такую человѣколюбивую, благородную, сострадательную встрѣчу, вмѣсто ожидаемаго жестокаго и грубаго обхожденья. На дорогѣ, я услышалъ многое, чего прежде не зналъ и чему бы за границей никогда бы не повѣрилъ. Многое, очень многое во мнѣ измѣнилось; но могу ли сказать по совѣсти, чтобъ во мнѣ не осталось также и много, много слѣдовъ старой болѣзни?—Одну истинну понялъ я совершенно: что Правительственная наука и Правительственное дѣло такъ велики, такъ трудны, что мало кто въ состояньи постичь ихъ простымъ умомъ, не бывъ къ тому приготовленъ особеннымъ воспитаньемъ, особенною атмосферою, близкимъ знакомствомъ и постояннымъ обхожденьемъ съ ними;—что въ жизни Государствъ и Народовъ есть много высшихъ условій, законовъ, не подлежащихъ обыкновѣнной мѣркѣ, и что многое, что кажется намъ въ частной жизни неправеднымъ, тяжкимъ, жестокимъ, становится въ высшей политической области необходимымъ. Понялъ, что исторія имѣетъ свой собственный, таинственный ходъ, логическій, хоть и противурѣчащій часто логикѣ міра, спасительный, хоть и не всегда соотвѣтствующій нашимъ частнымъ желаньямъ,—и что, кромѣ нѣкоторыхъ исключеній весьма рѣдкихъ въ Исторіи, какъ бы допущенныхъ Провидѣньемъ и освященныхъ признаньемъ Потомства, ни одинъ частный человѣкъ, какъ бы искренни, истинны, святы ни казались впротчемъ его убѣжденья, не имѣетъ ни призванья, ни права воздвигать крамольную мысль и безсильную руку противъ неисповѣдимыхъ высшихъ судебъ.—Понялъ, однимъ словомъ, что мои собственные замыслы и дѣйствія были въ высшей степени смѣшны, безсмысленны, дерзостны и преступны;—преступны противъ Васъ, моего Государя, преступны противъ Россіи, моего Отечества, преступны противъ всѣхъ политическихъ и нравственныхъ, божественныхъ и человѣческихъ законовъ!—Но возвращусь къ своимъ крамольнымъ, демократическимъ вопросамъ.

Я спрашивалъ себя также: «Какая польза Россіи въ ея завоеваньяхъ? И если ей покорится полъ-свѣта, будетъ ли она тогда счастливѣе, вольнѣе, богаче? Будетъ ли даже сильнѣе? И не распадется ли могучее Русское Царство, и нынѣ ужъ столь пространное, почти необъятное, не распадется ли оно, наконецъ, когда еще далѣе распространитъ свои предѣлы? Гдѣ послѣдняя цѣль его расширенья? Что принесетъ оно порабощеннымъ народамъ замѣсто похищенной независимости?—О свободѣ, просвѣщеньи и народномъ благоденствіи и говорить нечего, развѣ только свою національность, стѣсненную рабствомъ! Но Русская или, вѣрнѣе,

Великороссійская національность должна ли и можетъ ли быть національностью цѣлаго міра? Можетъ ли Западная Европа когда сдѣлаться русскою языкомъ, душею и сердцемъ? Могутъ ли даже всѣ Славянскія племена сдѣлаться русскими? Позабыть свой языкъ,—котораго сама Малороссія не могла еще позабыть,—свою литературу, свое родное просвѣщенье, свой теплый домъ, однимъ словомъ, для того, чтобъ совершенно потеряться и «слиться въ русскомъ морѣ», по выраженью Пушкина? Что пріобрѣтутъ они, что пріобрѣтетъ сама Россія черезъ такое насильственное смѣшенье? Они то же, что пріобрѣла Бѣлоруссія въ слѣдствіе долгаго подданства у Польши: совершенное истощенье и поглупѣнье народа. А Россія? Россія должна будетъ носить на плечахъ своихъ всю тяжесть сей необъятной, многосложной насильственной централизаціи. Россія сдѣлается ненавистна всѣмъ протчимъ Славянамъ, такъ какъ она теперь ненавистна Полякамъ; будетъ не освободительницею, а притѣснительницею родной Славянской семьи; ихъ врагомъ противъ воли, на счетъ собственнаго благоденствія и на счетъ своей собственной свободы,—и кончитъ наконецъ тѣмъ, что, ненавидимая всѣми, сама себя возненавидитъ, не найдя въ своихъ принужденныхъ побѣдахъ ничего кромѣ мученій и рабства! Убьетъ Славянъ, убьетъ и себя!—Таковъ ли долженъ быть конецъ едва только что начинающейся Славянской жизни и Славянской исторіи?»

Государь! Я не старался смягчать выраженья! Представилъ же Вамъ вопросы, волновавшіе тогда мою душу, во всей ихъ сырой наготѣ, надѣясь на Ваше милостивое [1]) снисхожденье и для того, чтобъ хоть нѣсколько объяснить Вашему Императорскому Величеству, какимъ образомъ идя, или лучше сказать шатаясь, отъ вопроса къ вопросу, отъ вывода къ выводу, я успѣлъ отчасти увѣрить себя въ необходимости и нравственности русской революціи.

Я довольно сказалъ, чтобъ показать, сколь была велика необузданность моей мысли. Теперь же, съ опасностью погрѣшить противъ логики и связи, спѣшу перескочить черезъ множество подобныхъ вопросовъ и мыслей, приведшихъ меня къ окончательному революціонерному заключенью. Трудно, Государь, и неимовѣрно какъ тяжело мнѣ говорить Вамъ объ этихъ предметахъ. Трудно, потому что не знаю, какимъ образомъ я долженъ объясняться: если стану смягчать выраженья, то Вы можете подумать, что я хочу скрыть или умалить дерзость своихъ мыслей и что исповѣдь моя не искренна, не совершенна;—если жъ стану повторять выраженья, которыя употреблялъ, когда находился въ самомъ разгарѣ политическаго безумья, то Вы пожалуй подумаете, Государь, что я, отъ чего сохрани меня Богъ! хочу еще передъ Вами Самими щеголять вольнодумствомъ. Кромѣ этого, высчитывая подробно всѣ старыя

---

[1]) Конец в т о р о й тетради оригинала в шесть писчих листов (или 24 страницы: л. л. 1—20; 21—44).

мысли, я долженъ бы былъ различать между тѣми, которыя ужъ совершенно отбросилъ, и тѣми, которыя отчасти или вполнѣ сохранилъ, долженъ бы былъ войти въ безконечныя объясненья, разсужденья, которыя были бы здѣсь не только что неприличны, но совершенно противны духу и единственной цѣли сей исповѣди, долженствующей содержать только простой и нелицемѣрный разсказъ всѣхъ моихъ прегрѣшеній.—Но не такъ еще трудно, какъ тяжело мнѣ, Государь, говорить Вамъ о томъ, что я дерзалъ думать о направленьи и духѣ Вашего управленья! Тяжело во всѣхъ отношеньяхъ: тяжело по положенью, ибо я предстаю Вамъ, моему Государю, какъ осужденный преступникъ! — тяжело моему самолюбью: мнѣ такъ и слышится, что Вы, Государь, говорите: мальчишка болтаетъ о томъ, чего не знаетъ! А более всего тяжело моему сердцу, потому что стою передъ Вами какъ блудный, отчудившійся, развратившійся сынъ передъ оскорбленнымъ и гнѣвнымъ Отцемъ! [1]).

Однимъ словомъ, Государь, я увѣрилъ себя, что Россія, для того чтобъ спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцію, свергнуть Вашу Царскую власть, уничтожить монархическое правленіе и, освободивъ себя такимъ образомъ отъ внутренняго рабства, стать во главѣ Славянскаго движенья: обратить оружье свое противъ Императора Австрійскаго, противъ Прусскаго Короля, противъ Турецкаго Султана, а, если нужно будетъ, также и противъ Германіи и противъ Мажіаръ, однимъ словомъ противъ цѣлаго свѣта для окончательнаго освобожденья всѣхъ Славянскихъ племенъ изъ подъ чуждаго ига. Половина Прусской Шлезіи, большая часть западной и восточной Пруссіи, однимъ словомъ всѣ земли, говорящія по Славянски, по Польски, должны были отдѣлиться отъ Германіи. Мои фантазіи простирались и далѣе: я думалъ, я надѣялся, что Мажіарская нація, принужденная обстоятельствами, уединеннымъ положеньемъ посреди Славянскихъ племенъ, а также и своею болѣе восточною, чѣмъ западною природою,—что всѣ Молдавы и Валахи, наконецъ даже и Греція войдутъ въ Славянскій Союзъ и что такимъ образомъ созиждется единое вольное восточное Государство и какъ бы Восточный возродившійся міръ, въ противуположность Западному, хоть и не во враждѣ съ онымъ, и что Столицею его будетъ Константинополь.

Вотъ какъ далеко простирались мои революціонерныя ожиданья! Впротчемъ не замыслы моего личнаго честолюбья, клянусь Вамъ, Государь!—и смѣю надѣяться, что Вы Сами въ томъ скоро убѣдитесь. Но прежде я долженъ отвѣчать на вопросъ: какой формы Правленья я желалъ для Россіи? Мнѣ будетъ очень трудно отвѣчать на него, такъ мысли мои на сей счетъ были неясны и неопредѣленны. Проживъ во-

---

[1]) Подчеркнуто Николаемъ. На поляхъ пометка: „Напрасно бояться, личное на меня всегда прощаю отъ глубины сердца“. *Прим. ред.*

семь лѣтъ за границей, я зналъ, что я Россію не зналъ и говорилъ себѣ, что не мнѣ, еще же менѣе внѣ самой Россіи, опредѣлять законы и формы для ея новаго существованья. Я видѣлъ, что и въ самой Западной Европѣ, гдѣ условья жизни опредѣлены уже довольно ясно, гдѣ несравненно болѣе самосознанья, чѣмъ въ Россіи,—я видѣлъ, что даже и тамъ никто не былъ въ состояніи предугадать не только что постоянныхъ формъ будущности, но даже и перемѣнъ будущаго дня; и говорилъ себѣ: теперь Россію никто не знаетъ, ни Европейцы, ни Русскіе, потому что Россія молчитъ; молчитъ же она не отъ того, чтобъ ей нечего было говорить, а только потому, что и языкъ и всѣ движенья ее связаны. Пусть она воспрянетъ и заговоритъ, и тогда мы узнаемъ, и что она думаетъ и чего она хочетъ; она сама покажетъ намъ, какія формы и какія учрежденья ей нужны.—Еслибъ въ то время былъ возлѣ меня хоть одинъ Русскій, съ которымъ бы я могъ говорить о Россіи, то вѣроятно въ умѣ моемъ образовались бы, не говорю лучшія и разумнѣйшія, по крайнѣй мѣрѣ болѣе опредѣленныя понятья. Но я былъ совершенно одинъ съ своими замыслами, тысячи смутныхъ, другъ другу противурѣчащихъ фантазій толпились въ моемъ умѣ; я не могъ привесть ихъ въ порядокъ и убѣжденный въ невозможности выйти изъ сего лабиринта своею одинокою силою, отлагалъ разрѣшенье всѣхъ вопросовъ до вступленья на русскую почву.—Я желалъ республики. Но какой республики? Не парламентской. Представительное Правленье, конституціонныя формы, парламентская аристократія и такъ называемый экилибръ властей, въ которомъ всѣ дѣйствующія силы такъ хитро расположены, что ни одна дѣйствовать не можетъ, однимъ словомъ весь этотъ узкой, хитросплетенный и безхарактерный политическій катехизисъ западныхъ либераловъ никогда не былъ предметомъ ни моего обожанья, ни моего сердечнаго участья, ни даже моего уваженья; и въ это время я сталъ презирать его еще болѣе, видя плоды парламентскихъ формъ во Франціи, въ Германіи, даже на Славянскомъ конгрессѣ, особенно же въ Польскомъ отдѣленьи, гдѣ Поляки также играли въ парламентъ, какъ Нѣмцы играли въ революцію. Къ тому же русскій парламентъ, да и польскій также, былъ бы только составленъ изъ дворянъ,—въ русскій могло бы еще войти купечество,—огромная же масса Народа, тотъ настоящій Народъ, оплотъ и сила Россіи, въ которомъ заключается ея жизнь и вся ея будущность,—Народъ, думалъ я, остался бы безъ представителей и былъ бы притѣсненъ и обиженъ тѣмъ же самымъ дворянствомъ, которое тѣснитъ его нынѣ. Я думаю, что въ Россіи болѣе чѣмъ гдѣ будетъ необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышеньемъ и просвѣщеньемъ народныхъ массъ;—власть свободная по направленью и духу, но безъ парламентскихъ формъ; съ печатаньемъ книгъ свободнаго содержанья, но безъ свободы книгопечатанья; окруженная единомыслящими, освѣщенная ихъ совѣтомъ, укрѣ-

пленная ихъ вольнымъ содѣйствіемъ, но не ограниченная ни кѣмъ и ни чѣмъ.—Я говорилъ себѣ, что вся разница между такимъ диктаторствомъ и между Монархическою властью будетъ состоять въ томъ, что первое, по духу своего установленья, должно стремиться къ тому, чтобъ сдѣлать свое существованье какъ можно скорѣе ненужнымъ, имѣя въ виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость Народа; въ то время какъ Монархическая власть должна напротивъ стараться о томъ, чтобъ существованье ея не переставало бы никогда быть необходимымъ, и потому должна содержать своихъ подданныхъ въ неизмѣняемомъ дѣтствѣ.

Что будетъ послѣ диктаторства, я не зналъ, да и думалъ, что этого предугадать теперь никто не можетъ. — А кто будетъ диктаторомъ? Могли бы подумать, что я себя готовилъ на это высокое мѣсто. Но такое предположенье было бы рѣшительно несправедливо. Я долженъ сказать, Государь, что кромѣ экзальтаціи, иногда фанатической, но фанатической болѣе въ слѣдствіе обстоятельствъ и неестественнаго положенья, чѣмъ отъ природы, во мнѣ не было ни тѣхъ блестящихъ качествъ, ни тѣхъ сильныхъ пороковъ, которые творятъ или замѣчательныхъ политическихъ людей, или великихъ государственныхъ преступниковъ.—Во мнѣ и прежде и въ это время было такъ мало честолюбья, что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидѣлъ въ немъ способность и средства и твердую волю служить тѣмъ началамъ, въ которыя я вѣрилъ тогда, какъ въ абсолютную истину; и съ радостью послѣдовалъ бы ему и ревностно сталъ бы повиноваться, потому что всегда любилъ и уважалъ дисциплину, когда она основана на убѣжденьи и вѣрѣ.—Я не говорю, чтобъ во мнѣ не было самолюбья, но никогда не было оно во мнѣ преобладающимъ; напротивъ, я долженъ былъ преодолѣвать себя и шелъ какъ бы на перекоръ своей природѣ, когда сбирался или говорить публично или даже писать для публики. Не было во мнѣ и тѣхъ огромныхъ пороковъ à la Danton или à la Mirabeau, того ненасытнаго, широкаго разврату, который для своего утоленья готовъ поставить въ верхъ дномъ цѣлый міръ. А если во мнѣ и былъ эгоизмъ, то онъ единственно состоялъ въ потребности движенья, въ потребности дѣйствія. Въ моей природѣ былъ всегда коренной недостатокъ: это любовь къ фантастическому, къ необыкновѣннымъ неслыханнымъ приключеньямъ, къ предпріятьямъ, открывающимъ горизонтъ безграничный и которыхъ никто не можетъ предвидѣть конца. Мнѣ становилось и душно и тошно въ обыкновѣнномъ спокойномъ кругу. Люди обыкновѣнно ищутъ спокойствія и смотрятъ на него, какъ на высочайшее благо; меня же оно приводило въ отчаянье; душа моя находилась въ неусыпномъ волненьи, требуя дѣйствія, движенья и жизни. Мнѣ слѣдовало бы родиться гдѣ-нибудь въ Американскихъ лѣсахъ, между западными колонистами, тамъ, гдѣ цивилизація едва разсвѣтаетъ и гдѣ вся жизнь есть безпрестанная борьба противъ дикихъ

людей, противъ дикой природы, а не въ устроенномъ гражданскомъ обществѣ. А также еслибъ судьба захотѣла сдѣлать меня съ молоду морякомъ, я былъ бы вѣроятно и теперь очень порядочнымъ человѣкомъ, не думалъ бы о политикѣ и не искалъ другихъ приключеній и бурь кромѣ морскихъ. Но судьба не захотѣла ни того ни другого и потребность, движенья и дѣйствія осталась во мнѣ неудовлетворенною. Сія потребность, соединившисьвъ послѣ дстви съ демократическою экзальтаціею, была почти моимъ единственнымъ двигателемъ. Что жъ касается до послѣдней, то она можетъ быть выражена въ немногихъ словахъ: любовь къ свободѣ и неотвратимая ненависть ко всякому притѣсненью, еще болѣе когда оно падало на другихъ чѣмъ на меня самого. Искать своего счастья въ чужомъ счастьи, своего собственнаго достоинства въ достоинствѣ всѣхъ меня окружающихъ, быть свободнымъ въ свободѣ другихъ, — вотъ вся моя вѣра, стремленье всей моей жизни. Я считалъ священнымъ долгомъ возставать противъ всякаго притѣсненья, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало. Во мнѣ было всегда много донъ-кихотства, не только политическаго, но и въ частной жизнѣ; я не могъ равнодушно смотрѣть на несправедливость, не говоря ужъ о рѣшительномъ утѣсненьи; вмѣшивался часто, безъ всякаго призванья и права и не давъ себѣ времяни обдумать, въ чужія дѣла, и такимъ образомъ, въ продолженье своей многоволнуемой, но пустой и безполѣзной жизни, надѣлалъ много глупостей, навлекъ на себя много непріятностей и пріобрѣлъ себѣ нѣсколько враговъ, самъ почти никого не ненавидя. Вотъ, Государь! истинный ключъ ко всѣмъ моимъ безсмысленнымъ поступкамъ, грѣхамъ и преступленьямъ.—Я говорю о томъ съ такою увѣренностью и такъ положительно, потому что въ послѣдніе два года имѣлъ довольно досуга на изученье себя, для того чтобъ обдумать всю прошедшую жизнь; а теперь смотрю на себя хладнокровно, какъ можетъ только смотрѣть умирающій или даже совершенно умершій.

Съ такимъ направленьемъ мыслей и чувствъ я не могъ думать о своемъ собственномъ диктаторствѣ, не могъ питать въ душѣ своей честолюбивыхъ помысловъ. Напротивъ, я былъ такъ увѣренъ, что погибну въ неравной борьбѣ, что нѣсколько разъ даже писалъ другу Рейхелю, что я съ нимъ простился на вѣкъ; что если я не погибну въ Германіи, такъ погибну въ Польшѣ, если жъ не въ Польшѣ, такъ въ Россіи. Не разъ также говаривалъ Нѣмцамъ и Полякамъ, когда въ моемъ присутствіи они спорили о будущихъ формахъ правленія: «мы призваны разрушать, а не строить, строить будутъ другіе, которые и лучше и умнѣе и свѣжѣе насъ».— Того же самаго надѣялся и для Россіи; я думалъ, что изъ революціонернаго движенья выйдутъ люди новые, сильные и что они овладѣютъ имъ и поведутъ его къ цѣли.

Могли бы спросить меня: какъ же ты при такой неопредѣленности мыслей, не зная самъ, что выйдетъ изъ твоего предпріятья, какъ же ты

могъ рѣшиться на такую страшную вѣщь, какова русская революція? Развѣ ты не слыхалъ о Пугачевскомъ бунтѣ? Или не знаешь, до какого варварства, до какой звѣрской жестокости могутъ дойти русскіе взбунтовавшіеся мужики? И не помнишь словъ Пушкина: «избави насъ Богъ отъ русскаго бунта, безсмысленнаго и безпощаднаго!..»?

Государь! На этотъ вопросъ, на этотъ упрекъ мнѣ будетъ тяжелѣе отвѣчать, чѣмъ на всѣ предыдущіе. Оттого тяжелѣе, что хоть преступленье мое не выходило изъ области мысли, я въ мыслѣ ужъ и тогда чувствовалъ себя преступникомъ, и самъ содрогался отъ возможныхъ послѣдствій моего преступнаго предпріятья, — и не отказывался отъ него! Правда, что я старался обманывать себя пустою надеждою на возможность остановить, укротить опьянѣлую ярость разнуздавшейся толпы; но плохо надѣялся, оправдывалъ же себя софизмомъ, что иногда и страшное зло бываетъ необходимымъ, а наконецъ утѣшалъ себя мыслью, что если и будетъ много жертвъ, то и я паду вмѣстѣ съ ними... И Богъ знаетъ! достало ли бы у меня довольно характера, силы и злости для того, чтобъ, не говорю совершить, но для того, чтобъ начать преступное дѣло. Богъ знаетъ? Хочу вѣрить, что нѣтъ, а можетъ быть и да. Чего не дѣлаетъ фанатизмъ! И не даромъ же говорятъ, что въ зломъ дѣлѣ только первый шагъ труденъ.—Я много и долго думалъ объ этомъ предметѣ и до сихъ поръ не знаю, что сказать, а благодарю только Бога, что Онъ не далъ мнѣ сдѣлаться извергомъ и палачемъ моихъ соотечественниковъ!

На счетъ средствъ и путей, которые я думалъ употребить для пропаганды въ Россіи, я также не могу дать опредѣленнаго отвѣта. Я не имѣлъ и не могъ имѣть опредѣленныхъ надеждъ, ибо находился внѣ всякаго прикосновенья съ Россіею; но готовъ былъ ухватиться за всякое средство, которое бы мнѣ представилось: заговоръ въ войскѣ, возмущенье русскихъ солдатъ, увлеченье русскихъ плѣнныхъ, еслибъ такіе нашлись, для того чтобъ составить изъ нихъ начатокъ русскаго революціонернаго войска, наконецъ и возмущенье крестьянъ... однимъ словомъ, Государь, моему преступленью противъ Вашей священной власти, въ мыслѣ и въ намѣреньяхъ, не было ни границъ, ни мѣры! И еще разъ благодарю Провидѣнье, что, остановивъ меня во время, Оно не дало мнѣ ни совершить, ни даже начать ни одного изъ моихъ гибельныхъ предпріятій противъ Васъ, моего Государя, и противъ моей Родины.— Тѣмъ не менѣе я знаю, что не такъ само дѣйствіе, какъ намѣренье, дѣлаетъ преступника и, оставивъ въ сторонѣ мои нѣмецкіе грѣхи, за которые былъ осужденъ сначала на смерть, потомъ на вѣчное заключенье въ рабочемъ домѣ, я вполнѣ и отъ глубины души сознаю, что болѣе всего я преступникъ противъ Васъ, Государь, преступникъ противъ Россіи и что преступленья мои заслуживаютъ казнь жесточайшую! [1]).

[1]) Пометка Николая: „Повинную голову мечь не сечетъ, прости ему Богъ!“ *Прим. ред.*

Самая тяжелая часть моей Исповѣди кончена. Теперь мнѣ остается исповѣдывать Вамъ грѣхи нѣмецкіе, правда болѣе положительные и не ограничивавшіеся ужъ одной мыслью, но тѣмъ не менѣе несравненно легче лежащіе на моей совѣсти, чѣмъ тѣ мысленные, противъ Васъ, Государь, и противъ Россіи, которыхъ я окончилъ подробное и нелицемѣрное описанье.—Обращусь опять къ своему разсказу.

Я искалъ въ то время точки опоры для дѣйствія. Не найдя оной въ Полякахъ, по всѣмъ вышеупомянутымъ причинамъ, я сталъ искать ее въ Славянахъ. Убѣдившись также потомъ, что и въ Славянскомъ конгрессѣ я ничего не найду, я сталъ собирать людей внѣ конгресса и составилъ было тайное общество, первое, въ которомъ я участвовалъ, общество подъ названьемъ: «Славянскихъ друзей». Въ него вошло нѣсколько Словаковъ, Моравовъ, Кроатовъ и Сербовъ. Позвольте мнѣ, Государь, не называть ихъ имянъ; довольно, что кромѣ меня въ немъ не учавствовалъ ни одинъ подданный Вашего Императорскаго Величества и что само общество просуществовало едва нѣсколько дней, бывъ разсѣяно вмѣстѣ съ конгрессомъ Пражскимъ возстаньемъ, побѣдою войскъ и принужденнымъ выѣздомъ всѣхъ Славянъ изъ города Праги. Оно не успѣло ни организироваться, ни даже положить первыхъ основаній для своего дѣйствія; но разсѣялось во всѣ стороны, не условившись ни въ сношеньяхъ, ни въ перепискѣ, такъ что послѣ этого я не имѣлъ и не могъ имѣть связи ни съ однимъ изъ его бывшихъ членовъ, и оно въ моихъ послѣдующихъ дѣйствіяхъ осталось безъ всякаго вліянья.—Упомянулъ же я объ немъ только для того, чтобъ не пропустить ничего въ моемъ подробномъ отчетѣ.

Славянскій конгрессъ въ послѣднее время измѣнилъ нѣсколько свое направленье: отчасти уступая напору Поляковъ, отчасти же и моимъ содѣйствіемъ, а также и содѣйствіемъ единомыслящихъ со мною Славянъ, онъ сталъ двигаться понемногу въ духѣ болѣе обще-славянскомъ, либеральномъ, не говорю демократическомъ, и перестялъ служить особеннымъ видамъ Австрійскаго Правительства: это было его смертнымъ приговоромъ. Пражское возстанье было впрочемъ произведено не конгрессомъ, а студентами и партіею такъ называемыхъ Чешскихъ демократовъ. Послѣдніе были тогда еще весьма немногочисленны и кажется не имѣли опредѣленнаго политическаго направленья, придерживались же бунту, потому что бунтъ былъ тогда въ общей модѣ. Въ это время я былъ съ ними мало знакомъ, ибо они почти совсѣмъ не посѣщали засѣданья конгресса, а находились большею частью внѣ Праги, въ окружныхъ деревняхъ, гдѣ возбуждали мужиковъ къ принятью участья въ приготовленномъ ими возстаньи. Я ничего не зналъ ни о ихъ планахъ, ни даже о замышляемомъ движеньи и былъ имъ столько же пораженъ, сколько и всѣ протчіе члены Славянскаго конгресса. Только вечеромъ, наканунѣ назначеннаго дня, и то неопредѣленно и смутно, услышалъ я въ первый

разъ о имѣвшемъ быть возстаньи студентовъ и рабочаго класса и вмѣстѣ съ другими уговаривалъ студентовъ отказаться отъ невозможнаго предпріятья и не давать Австрійскому войску случая къ легкой побѣдѣ. Явно было, что генералъ Князь Виндишгрецъ ничего такъ ревностно не желалъ, какъ такого случая для возстановленья упавшаго духа солдатъ и ослабѣвшей воинской дисциплины, для того чтобъ послѣ столькихъ постыдныхъ пораженій подать Европѣ первый примѣръ побѣды войскъ надъ крамольными массами. Онъ многими мѣрами какъ бы хотѣлъ раздразнить пражскихъ жителей, явно вызывалъ ихъ на бунтъ, а глупые студенты своими неслыханными требованьями, которыхъ ни одинъ генералъ не могъ бы исполнить, не обесчестившись передъ цѣлымъ войскомъ, подали ему желанный поводъ къ началу военныхъ дѣйствій.

Я пробылъ въ Прагѣ до самой капитуляціи, отправляя службу волонтера: ходилъ съ ружьемъ отъ одной баррикады къ другой, нѣсколько разъ стрѣлялъ, но былъ впротчемъ во всемъ этомъ дѣлѣ болѣе какъ гость, не ожидая отъ него большихъ результатовъ. Однако напослѣдокъ совѣтовалъ студентамъ и другимъ учавствовавшимъ свергнуть ратушу, которая вела тайные переговоры съ Княземъ Виндишгрецомъ, и посадить на ее мѣсто военный комитетъ съ диктаторскою властью; моему совѣту хотѣли было послѣдовать, но поздно; Прага капитулировала, я же на другой день рано отправился обратно въ Бреславль, въ которомъ и пробылъ сей разъ, если не ошибаюсь, до первыхъ числъ Іюля.

Описывая впечатлѣнье, произведенное на меня первою встрѣчею съ Славянами въ Прагѣ, я сказалъ, что во мнѣ пробудилось тогда Славянское сердце и новыя Славянскія чувства, заставившія меня почти позабыть весь интересъ, связывавшій меня съ демократическимъ движеньемъ Западной Европы. Еще сильнѣе подѣйствовалъ на меня безсмысленный крикъ Нѣмцовъ противъ Славянъ, поднявшійся по распущеньи Славянскаго конгресса со всѣхъ концовъ Германіи, а болѣе всего во франкфуртскомъ народномъ собраньи. Это ужъ былъ не демократическій крикъ, а крикъ Нѣмецкаго національнаго эгоизма; Нѣмцы хотѣли свободы для себя, не для другихъ. Собравшись во Франкфуртѣ, они ужъ въ самомъ дѣлѣ думали, что сдѣлались единою и сильною націею и что имъ теперь рѣшать судьбы міра! «Das deutsche Vaterland», существовавшее доселѣ только въ ихъ пѣсняхъ да еще въ разговорахъ за табакомъ и за пивомъ, должно было сдѣлаться отечествомъ половины Европы. *Франкфуртское собранье, вышедшее само изъ бунта, основанное на бунтѣ и существовавшее только бунтомъ*[1]), стало ужъ называть Итальянцовъ и Поляковъ бунтовщиками, смотрѣть на нихъ какъ на крамольныхъ и преступныхъ противниковъ Нѣмецкаго величья и Нѣмецкаго всемогущества! Оно называло Нѣмецкую войну за Шлез-

---

[1]) Подчеркнуто Николаем. На полях пометка: „Прекрасно!" *Прим. ред.*

вигъ-Голштейнъ «Stammverandt und meer umschlungen» святою войною, а войну Италіянцовъ за свободу Италіи и предпріятья Поляковъ въ Герцогствѣ Познанскомъ преступными!—Но сильнѣе еще обратилась Нѣмецкая національная ярость противъ Славянъ Австрійскихъ, собравшихся въ Прагѣ. Нѣмцы ужъ съ давнихъ временъ привыкли смотрѣть на нихъ какъ на своихъ крѣпостныхъ и не хотѣли имъ позволить даже и дохнуть по Славянски! Въ сей ненависти противъ Славянъ, въ сихъ Славяножирающихъ крикахъ учавствовали рѣшительно всѣ Нѣмецкія партіи; ужъ не одни только консерваторы и либералы, какъ противъ Италіи и Польши, демократы кричали противъ Славянъ громче другихъ: въ газетахъ, въ брошюрахъ, въ законодательныхъ и въ народныхъ собраньяхъ, въ клубахъ, въ пивныхъ лавкахъ, на улицѣ... это былъ такой гулъ, такая неистовая буря, что еслибъ Нѣмецкій крикъ могъ кого убить или кому повредить, то Славяне ужъ давно бы всѣ перемерли.—Передъ поѣздкой въ Прагу я пользовался между Бреславскими демократами большимъ почетомъ, но все мое вліянье утратилось и обратилось въ ничто, когда, по возвращеньи, я сталъ защищать въ демократическомъ клубѣ право Славянъ; на меня всѣ вдругъ закричали и договорить даже не дали, и это была моя послѣдняя попытка краснорѣчья въ Бреславскомъ клубѣ, да и вообще во всѣхъ нѣмецкихъ клубахъ и публичныхъ собраньяхъ.—Нѣмцы мнѣ вдругъ опротивѣли, опротивѣли до такой степени, что я ни съ однимъ не могъ говорить равнодушно [1]); не могъ слышать нѣмецкаго языка и нѣмецкаго голоса, и помню, что когда ко мнѣ разъ подошелъ нѣмецкій нищій мальчишка просить милостыню, я съ трудомъ воздержался отъ того, чтобы не поколотить его.

Не я одинъ, всѣ Славяне, ничуть не исключая Поляковъ, такъ же чувствовали. Поляки, обманутые Французскимъ революціонернымъ Правительствомъ, обманутые Нѣмцами, оскорбленные Нѣмецкими Жидами,—Поляки стали говорить громко, что имъ остается одно: прибѣгнуть къ покровительству Русскаго Императора и просить у него какъ милости присоединенья всѣхъ Польскихъ, Австрійскихъ и Прусскихъ провинцій къ Россіи. Таковъ былъ общій голосъ въ Познанскомъ Герцогствѣ, въ Галиціи и въ Краковѣ; одна только эмиграція противурѣчила, но эмиграція въ то время была почти безъ вліянья. Можно было бы подумать, что Поляки лицемѣрили, хотѣли только напугать Нѣмцовъ; но они говорили о томъ не Нѣмцамъ, только между собою, и говорили съ такою страстью и въ такихъ выраженьяхъ, что я и тогда не могъ сомнѣваться въ ихъ искренности, да и теперь еще убѣжденъ, что еслибъ Вы, Государь, захотѣли тогда поднять славянское знамя, то они безъ условій, безъ переговоровъ, но слѣпо предавая себя Вашей воли, они и все, что только

---

[1]) Подчеркнуто Николаемъ. На поляхъ пометка: „Пора было!“ *Прим. ред.*

говоритъ по Славянски въ Австрійскихъ и въ Прусскихъ владѣньяхъ, съ радостью, съ фанатизмомъ бросились бы подъ широкія крылья Россійскаго Орла и устремились бы съ яростью не только противъ ненавистныхъ Нѣмцовъ, но и на всю Западную Европу [1]).

Тогда во мнѣ родилась странная мысль. Я вздумалъ вдругъ писать къ Вамъ, Государь, и началъ было письмо; оно также содержало родъ исповѣди, болѣе самолюбивой, фразистой, чѣмъ та, которую теперь пишу,— я былъ тогда на свободѣ и не наученъ еще опытомъ,—но впротчемъ довольно искренной и сердечной [2]); я каялся въ своихъ грѣхахъ; молилъ о прощеньи, потомъ, сдѣлавъ нѣсколько натянутый и напыщенный обзоръ тогдашняго положенья Славянскихъ народовъ, молилъ Васъ, Государь, во имя всѣхъ утѣсненныхъ Славянъ прійти имъ на помощь, взять ихъ подъ Свое могучее Покровительство, быть ихъ Спасителемъ, ихъ Отцемъ и, объявивъ себя Царемъ всѣхъ Славянъ, водрузить наконецъ Славянское Знамя въ Восточной Европѣ на страхъ Нѣмцамъ и всѣмъ протчимъ притѣснителямъ и врагамъ Славянскаго племени!—Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное съ жаромъ и отъ души; оно заключало въ себѣ много смѣшного, нелѣпаго, но также и много истиннаго, одномъ словомъ, было вѣрнымъ изображеньемъ моего душевнаго безпорядка и тѣхъ безчисленныхъ противурѣчій, которыя волновали тогда мой умъ.—Я разорвалъ это письмо и сжегъ его, не докончивъ. Я опомнился и подумалъ, что Вамъ, Государь, покажется необыкновенно какъ смѣшно и дерзко, что я, подданный Вашего Императорскаго Величества, еще же не простой подданный, а государственный преступникъ, осмѣлился писать Вамъ и писать, не ограничиваясь мольбою о прощеньи, но дерзая подавать Вамъ совѣты, уговаривая Васъ на измѣненье Вашей политики!.. Я сказалъ себѣ, что письмо мое, оставшись безъ всякой пользы, только скомпрометируетъ меня въ глазахъ демократовъ, которые не равно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсѣмъ не демократической попыткѣ. Но болѣе чѣмъ всѣ другія причины заставили меня отказаться отъ сего намѣренья слѣдующія два обстоятельства, встрѣтившіяся страннымъ образомъ въ одно и то же время:

Во-первыхъ, я узналъ, могу сказать изъ офиціальнаго источника, именно отъ Президента полиціи въ Бреславлѣ, что Русское Правительство требовало моей выдачи отъ прусскаго, основываясь на томъ, что будто бы я съ вышеупомянутыми Поляками,—съ двумя братьями, фамиліи которыхъ я прежде никогда не слыхалъ, а теперь не помню,—намѣревался посягнуть на жизнь Вашего Императорскаго Величества. Я ужъ отвѣчалъ на сію клевету и молю Васъ, Государь, позвольте мнѣ болѣе не

---

1) Пометка Николая: „Не сомнѣваюсь, т.-е. я бы сталъ въ голову революціи Славянскимъ Mazaniello; спасибо!“ *Прим. ред.*

2) Пометка Николая: „Жаль, что не прислалъ“. *Прим. ред.*

упоминать о ней!—Во-вторыхъ же, слухъ о моемъ шпіонствѣ ужъ не ограничился глухою болтовнею Поляковъ, но нашелъ мѣсто въ Нѣмецкихъ журналахъ: Dr. Marx, одинъ изъ предводителей Нѣмецкихъ коммунистовъ въ Брюсселѣ, возненавидѣвшій меня болѣе другихъ за то, что я не захотѣлъ быть принужденнымъ посѣтителемъ ихъ обществъ и собраній, былъ въ это время редакторомъ «Rheinische Zeitung», выходившей въ Кольнѣ. Онъ первый напечаталъ корреспонденцію изъ Парижа, въ которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубилъ многихъ Поляковъ; а такъ какъ «Rheinische Zeitung» была любимымъ чтеньемъ Нѣмецкихъ демократовъ, то всѣ вдругъ и вездѣ, и ужъ громко заговорили о моемъ мнимомъ предательствѣ.—Съ обѣихъ сторонъ стало мнѣ тѣсно: въ глазахъ правительствъ я былъ злодѣемъ, замышлявшимъ Цареубійство, въ глазахъ же Публики—подлымъ шпіономъ!—Я былъ тогда убѣжденъ, что оба клеветливые слухи происходили изъ одного и того же источника. Они безвозвратно опредѣлили мою участь: я поклялся въ душѣ своей, что не отстану отъ своихъ предпріятій и не собьюсь съ дороги разъ начатой и пойду впередъ не оглядываясь и буду идти, пока не погибну, и что погибелью своею докажу Полякамъ и Нѣмцамъ, что я не предатель.

Послѣ нѣсколькихъ объясненій отчасти письменныхъ и личныхъ, отчасти же напечатанныхъ въ Нѣмецкихъ журналахъ, не находя болѣе никакой пользы, ни цѣли моему пребыванью въ Бреславлѣ, я въ началѣ Іюля отправился въ Берлинъ и пробылъ въ немъ до конца Сентября.—Въ Берлинѣ видѣлся часто съ французскимъ посланникомъ Emanuel Arago, встрѣчалъ у него турецкаго посланника, который неоднократно просилъ меня посѣщать его; но я у него не былъ, не желая, чтобъ обо мнѣ говорили, что я какимъ бы то ни было образомъ служу Турецкой политикѣ противъ Россіи, въ то время какъ я желалъ, напротивъ, освобожденья Славянъ изъ-подъ Турецкой власти и совершеннаго разрушенья послѣдней. Видалъ также многихъ Нѣмецкихъ и Польскихъ членовъ Прусскаго законодательнаго или конститутивнаго собранья, большею частью демократовъ, однако держалъ себя отъ всѣхъ въ великомъ отдаленьи, даже отъ тѣхъ, съ которыми былъ прежде довольно близокъ въ Бреславлѣ: мнѣ все казалось, что на меня всѣ смотрятъ какъ на шпіона, и я готовъ былъ каждаго за то ненавидѣть и отъ всѣхъ удалялся. Никогда, Государь, не было мнѣ такъ тяжело, какъ въ это время; ни прежде, ни потомъ, ни даже тогда, когда, лишившись свободы, я долженъ былъ перейти черезъ всѣ испытанья двухъ криминальныхъ процессовъ. Тутъ я понялъ, сколь тяжко должно быть положенье дѣйствительнаго шпіона или какъ подлъ долженъ быть шпіонъ для того, чтобъ переносить равнодушно свое существованье. Мнѣ было очень тяжело, Государь!

Къ тому же горизонтъ Европейскій для меня, демократа, видимо, помрачился. За революціею вездѣ слѣдовала реакція или пріуготовленья

къ реакціи. Іюньскія Парижскія происшествія имѣли тяжкія послѣдствія для всѣхъ демократовъ не только въ Парижѣ, во Франціи, но въ цѣлой Европѣ. Въ Германіи еще явныхъ реакціонерныхъ мѣръ не было, казалось, что всѣ пользовались полной свободою; но тѣ, у которыхъ были глаза, видѣли, что Правительства безъ шуму готовились, совѣщевались, собирали силы и ожидали только удобнаго часу для того, чтобъ нанести рѣшительный ударъ; и что они терпѣли безтолковую болтовню Нѣмецкихъ парламентовъ единственно только потому, что еще болѣе ожидали себѣ отъ нихъ пользы, чѣмъ опасались ихъ вредныхъ послѣдствій. Они не обманулись: нѣмецкіе либералы и демократы сами себя убили и сдѣлали имъ побѣду весьма легкою.—Славянскій вопросъ также въ это время запутался: война Бана Іелачича въ Венгріи казалась Славянской войною, была предпринята какъ будто бы только для того, чтобъ защитить Словаковъ и южныхъ Славянъ отъ нестерпимыхъ притязаній Мажіаръ; въ сущности же эта война была начало Австрійской реакціи. Я былъ въ сильномъ сомнѣньи, не зналъ съ кѣмъ симпатизировать. Іелачичу рѣшительно не вѣрилъ, но и Коссутъ въ это время былъ еще плохимъ демократомъ; онъ кокетничалъ съ франкфуртскимъ реакціонернымъ собраньемъ и даже былъ готовъ помириться съ Инспрукомъ и служить ему и противъ Вѣны и противъ Поляковъ и противъ Италіи, еслибъ только Инспрукскій дворъ захотѣлъ согласиться на его особенныя венгерскія требованья.

При всемъ этомъ, я былъ пригвожденъ къ Берлину безденежьемъ. Еслибъ у меня были деньги, то я можетъ быть поѣхалъ бы въ Венгрію для того, чтобъ быть очевидцемъ, и много листовъ прибавилось бы тогда къ сей уже и безъ того многолиственной Исповѣди! Но денегъ у меня не было, я не могъ пошевелиться съ мѣста. Также не было и сношеній съ Славянами; исключая одного незначительнаго письма Людвига Штура, на которое я хотѣлъ, но не могъ отвѣчать, ибо не зналъ его адресса,—я не получилъ изъ Австріи ни строчки и самъ ни къ кому не писалъ.—Однимъ словомъ до самаго Декабря мѣсяца я оставался въ полномъ бездѣйствіи; такъ что не знаю, что даже и сказать объ этомъ времяни, развѣ только, что я ждалъ у моря погоды, твердо намѣреваясь ухватитъся за первую возможность для дѣйствія. Въ какомъ же духѣ я хотѣлъ дѣйствовать, Вы уже знаете, Государь! Это было для меня самое тяжелое время. Безъ денегъ, безъ друзей, прокричанъ какъ шпіонъ одинъ посреди многолюднаго города, я не зналъ, что дѣлать, за что приняться, иногда даже не зналъ, чѣмъ и какъ буду жить на другой день. Не однимъ безденежьемъ я былъ пригвожденъ къ Берлину, къ Пруссіи и вообще къ сѣверной Германіи еще и клеветливыми слухами, распространившимися на мой счетъ; и хоть политическія обстоятельства ужъ видимо измѣнились и были такого рода, что я почти совсѣмъересталъ ожидать и надѣяться, однако я не могъ и не хотѣлъ воз-

вратиться въ Парижъ, единственное прибѣжище, которое мнѣ оставалось, не доказавъ сперва на живомъ дѣлѣ искренность своихъ демократическихъ убѣжденій. Я долженъ былъ выдержать до конца для того, чтобъ спасти свою запятнанную честь. Я сдѣлался золъ, нелюдимъ, сдѣлался фанатикомъ, былъ готовъ на всякое головоломное, только не подлое, предпріятье, и весь какъ бы превратился въ одну революціонерную мысль и въ страсть разрушенья.

Въ концѣ Сентября, вѣроятно по требованью Русскаго Посольства, не подавъ впротчемъ самъ къ тому ни малѣйшаго повода, я былъ принужденъ оставить Берлинъ. Возвратился въ Бреславль, но въ началѣ же Октября былъ принужденъ оставить Бреславль [1]) и вообще всѣ Прусскія владѣнья, съ угрозою, что если я возвращусь, то меня выдадутъ Русскому Правительству. Я разумѣется послѣ такой угрозы ужъ и не пробовалъ возвращаться, хотѣлъ остановиться въ Дрезденѣ, но и оттуда былъ изгнанъ, по недоразумѣнью, какъ сказалъ потомъ Министръ, и на основаньи древняго требованья Россійскаго Посольства. Такимъ образомъ, гонимый изъ края въ край, я утвердился наконецъ въ Анхальтъ—Кöттенскомъ царствѣ, которое страннымъ образомъ, находясь посреди Прусскихъ владѣній, пользовалось тогда вольнѣйшею конституціею не только въ Германіи, но я думаю въ цѣломъ мірѣ, и сдѣлалось въ слѣдствіе того, хоть и не надолго, убѣжищемъ для политическихъ изгнанцевъ. Я нашелъ въ Кöттенѣ нѣсколько старыхъ знакомыхъ, съ которыми учился вмѣстѣ въ Берлинскомъ университетѣ. Тамъ были также и законодательное и народныя собранья и клубъ и Stündchen и Katzenmusik, но въ сущности никто почти не занимался политикою; такъ что до половины Ноября я съ своими знакомыми не зналъ почти другихъ занятій, кромѣ охоты на зайцевъ и на другихъ дикихъ звѣрей. Это было для меня время отдыха.

Мой отдыхъ продолжался недолго. Судьба готовила мнѣ гробовой отдыхъ въ крѣпостномъ заключеньи.—Еще въ Октябрѣ мѣсяцѣ, когда Банъ Іелачичъ, миновавъ Пестъ [2]), пошелъ прямо на Вѣну, а Генералъ Князь Виндишгрецъ оставилъ съ войсками Прагу, я хотѣлъ было ѣхать въ сей послѣдній городъ, желая возбудить Чешскихъ демократовъ къ вторичному возстанью. Однако раздумалъ и остался въ Кöттенѣ. Раздумалъ же потому, что не имѣлъ еще сношеній съ Прагой и не зналъ, какія перемѣны могли произойти тамъ послѣ Іюньскихъ дней и какое было тогда направленье умовъ; съ демократами былъ плохо знакомъ и

[1]) Въ Бреславлѣ, равно какъ и въ Берлинѣ, демократы готовились было къ вооруженному отпору противъ первыхъ реакціонерныхъ мѣръ Прусскаго Правительства. Никогда можетъ быть не была Прусская Шлезія такъ готова къ всеобщему народному возстанью, какъ имянно въ это время. Я видѣлъ сіи пріуготовленья, радовался имъ, но самъ не принималъ въ нихъ участья, ожидая болѣе рѣшительныхъ обстоятельствъ.

Примѣчаніе автора „Исповѣди“.

[2]) Т.-е. Будапештъ. *Прим. ред.*

не надѣялся на успѣхъ, ожидалъ же напротивъ сильнаго противудѣйствія со стороны Чешско-конституціонной партіи Палацкаго. Въ Прагѣ, думалъ я, меня уже давно успѣли забыть,—и отчасти для того, чтобъ напомнить о себѣ Пражскимъ жителямъ, и для того, чтобъ дать по возможности Славянскому движенью направленье другое, болѣе сообразное съ моими собственными какъ Славянскими, такъ и демократическими ожиданьями, отчасти же для того, чтобъ доказать Полякамъ и Нѣмцамъ, что я не русскій шпіонъ и проложить себѣ дорогу къ новому сближенью съ ними,—я началъ писать воззванье къ Славянамъ—«Aufruff an die Slaven», которое и было напечатано потомъ въ Лейпцигѣ.—Оно находится также въ числѣ обвинительныхъ документовъ.—Я писалъ его долго, болѣе мѣсяца; откладывалъ, потомъ опять за него принимался, нѣсколько разъ измѣнялъ и долго не рѣшался печатать. Я не могъ выразить въ немъ чисто и ясно своей Славянской мысли, потому что хотѣлъ опять сблизиться съ Нѣмецкими демократами, считая сближенье сіе необходимымъ, и долженъ былъ лавировать между Славянами и Нѣмцами,—родъ плаванья, къ которому у меня не было ни большой способности, ни привычки, а еще мѣнѣе охоты. Я хотѣлъ убѣдить Славянъ въ необходимости сближенья съ Германскими, равно какъ и съ Мажіарскими демократами. Обстоятельства уже были не тѣ, какъ въ Маѣ: революція ослабла, реакція вездѣ усилилась, и только соединенными силами всѣхъ Европейскихъ демокрацій можно было надѣяться побѣдить реакціонерный Союзъ Правителей.

Въ Ноябрѣ, въ слѣдъ за Вѣнскими происшествіями, было распущено, также насильственнымъ образомъ, Прусское Конститутивное Собранье. Въ слѣдствіе сего въ Köттенѣ собралось нѣсколько бывшихъ депутатовъ и, между протчими, Гекзамеръ и Дестеръ, члены центральнаго комитета всѣхъ демократическихъ клубовъ въ Германіи. Комитетъ сей былъ впротчемъ не тайный, бывъ избранъ не за долго передъ тѣмъ въ публичныхъ засѣданьяхъ демократическаго конгресса въ Берлинѣ. Но онъ сталъ вскорѣ основывать тайныя общества въ цѣлой Германіи, и можно сказать, что Нѣмецкія тайныя общества начались только съ этого времяни. Безъ всякаго сомнѣнья существовали и прежде нѣкоторыя, а имянно коммунистическія, но они оставались рѣшительно безъ всякаго вліянья. До Ноября мѣсяца все дѣлалось публично въ Германіи: и заговоры, и бунты, и пріуготовленья къ бунтамъ, и всякій могъ знать объ нихъ, кто только хотѣлъ. Избалованные революціею, какъ бы упавшею съ неба, безъ всякаго усилья съ ихъ стороны, почти безъ кровопролитья, Нѣмцы долго не могли убѣдиться въ возраставшей силѣ Правительствъ и въ своемъ собственномъ безсильи; они болтали, пѣли, пили, были ужасны на словахъ, дѣти въ дѣлѣ и думали, что свободѣ ихъ не будетъ конца и что стоило имъ только немного поморщиться для того, чтобъ привести всѣ Правительства въ трепетъ. Происшествія въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ научили

ихъ однако противному; тутъ они поняли, что для удержанья легко пріобрѣтенной Свободы они должны были принять мѣры болѣе серьезныя, и вся Германія стала готовиться тайно къ новой революціи.

Я Дестера и Гекзамера видѣлъ въ первый разъ въ Берлинѣ, но тогда еще мало былъ съ ними знакомъ, ибо удалялся отъ нихъ, равно какъ и отъ всѣхъ протчихъ людей, Нѣмцовъ и Поляковъ. Въ Köттене познакомился съ ними ближе; они сначала мнѣ не довѣряли, думая въ самомъ дѣлѣ, что я шпіонъ; потомъ однако повѣрили. Я съ ними много говорилъ и спорилъ о Славянскомъ вопросѣ; долго не могъ убѣдить ихъ въ необходимости для Нѣмцовъ отказаться отъ всѣхъ притязаній на Славянскія земли; наконецъ успѣлъ убѣдить ихъ и въ этомъ. Такимъ образомъ начались наши политическія сношенья,—первыя положительныя сношенья съ опредѣленною цѣлью, которыя я имѣлъ съ Нѣмцами, да и вообще съ какою бы то ни было дѣйствующею политическою партіею. Они мнѣ обѣщали употребить все свое вліянье на Нѣмецкихъ демократовъ для того, чтобъ искоренить изъ оныхъ ненависть и предубѣжденья противъ Славянъ; я же имъ обѣщалъ дѣйствовать въ такомъ же духѣ на послѣднихъ. Симъ ограничились на первый разъ наши взаимныя обязательства. Такъ какъ они ужъ меня не боялись, то я зналъ о ихъ замыслахъ, пріуготовленьяхъ, объ образованьи тайныхъ обществъ, слышалъ также и о только что тогда начинавшихся сношеньяхъ съ иностранными демократами, но рѣшительно самъ не вмѣшивался въ ихъ дѣла, даже не хотѣлъ спрашивать, опасаясь возбудить въ нихъ новыя подозрѣнья. Самъ же спѣшилъ окончить «Воззванье къ Славянамъ», которое и напечаталъ вскорѣ потомъ въ Лейпцигѣ.

Въ концѣ Декабря, отчасти для того, чтобъ быть ближе къ Богеміи и жить въ городѣ, представляющемъ болѣе средствъ для сношеній со всѣми пунктами, чѣмъ Cöthen, отчасти же и потому, что услышалъ, что Прусское Правительство намѣревалось перехватать всѣхъ удалившихся въ сей послѣдній, я вмѣстѣ съ Гекзамеромъ и Дестеромъ переселился въ Лейпцигъ. Тамъ случайно познакомился съ нѣсколькими молодыми Славянами, имяна и качества которыхъ подробно изочтены въ Австрійскихъ обвинительныхъ документахъ. Между ними находились два брата: Густавъ и Адольфъ Страка, Чехи, учившіеся тогда Богословію въ Лейпцигскомъ Университетѣ. Они оба добрые и благородные молодые люди, прежде знакомства со мной не думавшіе о политикѣ, хоть были оба и ревностные Славяне, и ихъ погибель, мной однимъ причиненная, есть великій грѣхъ на моей душѣ. Прежде моего пріѣзда въ Лейпцигъ они были мнѣнья совершенно противнаго моему, большіе почитатели Іелачича; къ ихъ несчастью я встрѣтился съ ними, увлекъ ихъ, перемѣнилъ ихъ образъ мыслей, оторвалъ отъ мирныхъ занятій и уговорилъ ихъ быть орудьями моихъ предпріятій въ Богеміи; и теперь, еслибъ могъ облегчить ихъ участь ухудшеньемъ моей собственной, я съ радостью понесъ бы

на себѣ ихъ наказанье. Но все это поздно! Кромѣ ихъ впротчемъ на моей душѣ не было ни преждѣ, ни въ это время, ни потомъ ни одного увлеченнаго. Только за нихъ я долженъ отвѣчать Богу.

Черезъ нихъ имянно я узналъ, что мое «Воззванье къ Славянамъ» нашло сильный отголосокъ въ Прагѣ; что даже отрывокъ изъ него былъ переведенъ и напечатанъ въ одномъ демократическомъ Чешскомъ журналѣ, редакторомъ котораго былъ Dr. Saḃina. Это породило во мнѣ мысль созвать нѣкоторыхъ Чеховъ и нѣсколько Поляковъ въ Лейпцигъ на совѣщанье и на уразумѣнье съ Нѣмцами, съ цѣлью положить первое основанье для общаго революціонернаго дѣйствія. Въ слѣдствіе сего я послалъ Густава Страку въ Прагу, съ порученьемъ къ Арнольду, также редактору одного демократическаго Чешского листа, и къ Сабинѣ [1]), которыхъ впротчемъ зналъ тогда только одни имяна, не бывъ еще знакомъ съ ними лично. Писалъ также въ Герцогство Познанское тѣмъ изъ моихъ Польскихъ знакомыхъ, отъ которыхъ болѣе чѣмъ отъ другихъ могъ надѣяться сочувствія и содѣйствія. Но изъ Поляковъ рѣшительно никто не пріѣхалъ, даже никто не отвѣчалъ мнѣ; изъ Праги же пріѣхалъ только одинъ Арнольдъ, не дозволившій Тракѣ позвать также и Сабину отчасти потому, что не довѣрялъ ему, отчасти же я думаю и по мелкой зависти.—Всѣ сіи обстоятельства, открытыя впротчемъ не мною, но самимъ Арнольдомъ и братьями Страка, подробно изложены въ Австрійскихъ обвинительныхъ актахъ. Я не буду входить, Государь, въ мелочныя подробности, необходимыя въ инквизиціонномъ слѣдствіи для открытья истины, но ненужныя и неумѣстныя въ самовольной и простосердечной Исповѣди. Упомяну же въ продолженье сего разсказа только о тѣхъ обстоятельствахъ, которыя необходимы для связи, или о тѣхъ существенныхъ фактахъ, которые остались неизвѣстными обѣимъ слѣдственнымъ комиссіямъ.

Приступая къ описанью послѣдняго акта моей печальной революціонерной карьеры, я долженъ сначала сказать, чего я хотѣлъ; потомъ стану описывать сами дѣйствія. Моя политическая горячка, раздраженная и разъяренная предыдущими неудачами, нестерпимостью моего страннаго положенья, а наконецъ и побѣдою реакціи въ Европѣ, достигла въ то время своего высочайшаго пароксизма: я былъ весь превращенъ въ революціонерное желанье, въ жажду революціи и былъ, я думаю, между всѣми червленными республиканцами и демократами червленнѣйшимъ.—Планъ мой былъ слѣдующій:

Нѣмецкіе демократы готовили всеобщее повстанье Германіи къ веснѣ 1849-го года. Я желалъ, чтобъ Славяне соединились съ ними, а

---

[1]) Я долженъ тутъ замѣтить, что я съ Густавомъ Страка послалъ также и адресъ къ Славянской Лигѣ, Чешскому болѣе или менѣе демократическому клубу; но что Saḃina удержалъ оный у себя, найдя его слишкомъ опаснымъ.

Примѣчаніе автора „Исповѣди“.

равно и съ Мажіарами, находившимися уже тогда въ явномъ и рѣшительномъ бунтѣ противъ Императора Австрійскаго. Желалъ, чтобъ они соединились какъ съ тѣми, такъ и съ другими, не для того, чтобъ слиться съ Германіею или покориться Мажіарамъ, но для того, чтобъ вмѣстѣ съ торжествомъ революціи въ Европѣ утвердилась бы также и независимость Славянскихъ племенъ. Время же казалось удобно для такого уразумѣнья; Мажіары и Нѣмцы, наученные опытомъ и нуждаясь въ союзникахъ, были готовы отказаться отъ прежнихъ притязаній. Я надѣялся, что Поляки согласятся быть посредниками между Коссутомъ и Славянами венгерскими, и хотѣлъ взять на себя посредничество между Славянами и Нѣмцами.—Я желалъ, чтобъ центромъ и главою сего новаго Славянскаго движенья была Богемія, а не Польша. Желалъ того по многимъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что вся Польша была такъ истощена и деморализирована предыдущими пораженьями, что я не вѣрилъ въ возможность ея освобожденья безъ чужой помощи; въ то время какъ Богемія, почти еще не тронутая реакціею, пользовалась въ то время полною свободою, была сильна, свѣжа и заключала въ себѣ всѣ нужныя средства для успѣшнаго революціонернаго движенья. Кромѣ этого, я не желалъ, чтобъ Поляки стали во главѣ предполагаемой революціи, боясь, что они или дадутъ ей характеръ тѣсный, исключительно Польскій, или даже, пожалуй, если имъ это покажется нужно, предадутъ протчихъ Славянъ своимъ старымъ союзникамъ западно-европейскимъ демократамъ, а еще легче Мажіарамъ. Наконецъ, я зналъ, что Прага есть какъ бы столица, родъ Москвы, для всѣхъ Австрійскихъ, не Польскихъ, Славянъ и надѣялся, думаю не безъ основанья, что если Прага возстанетъ, то и всѣ протчія Славянскія племена послѣдуютъ ея примѣру и увлекутся ея движеньемъ,—наперекоръ Іелачичу и другимъ, впротчемъ не столь многочисленнымъ приверженцамъ Австрійской династіи.—Итакъ отъ Нѣмцовъ я ожидалъ согласья, симпатіи, а если нужно будетъ, такъ и вооруженной помощи противъ Прусскаго Правительства, которое, увлекшись Россійскимъ примѣромъ и опасаясь заразы, не захотѣло бы вѣроятно быть бездѣйственнымъ зрителемъ революціонернаго пожара въ Богеміи. Отъ Поляковъ ожидалъ посредничества съ Мажіарами, участья офицеровъ, а болѣе всего денегъ, которыхъ у меня не было и безъ которыхъ всякое предпріятье становится невозможнымъ. Но мои главныя ожиданья и надежды сосредоточивались на Богеміи.

Я надѣялся еще болѣе на Богемскихъ, Чешскихъ, равно какъ и Нѣмецкихъ крестьянъ, чѣмъ на Прагу, чѣмъ на городскихъ жителей вообще. Огромная ошибка Нѣмецкихъ да сначала также и Французскихъ демократовъ состояла, по моему мнѣнью, въ томъ, что пропаганда ихъ ограничивалась городами, не проникала въ села; города, какъ бы сказать, стали аристократами, и въ слѣдствіе того села не только остались равнодушными зрителями революціи, но во многихъ мѣстахъ начали даже

являть противъ нея враждебное расположенье. А ничего казалось не было легче, какъ возбудить революціонерный духъ въ земледѣльческомъ классѣ, особливо въ Германіи, гдѣ еще существовало такъ много остатковъ древнихъ феодальныхъ постановленій, удручающихъ землю; не исключая также и самой Пруссіи, которая, при общей свободѣ собственности и людей, сохранила въ нѣкоторыхъ провинціяхъ, напр. въ Шлезіи, слѣды древняго подданства, и въ которой возлѣ, впротчемъ довольно многочисленнаго класса вольныхъ собственниковъ, существуетъ классъ еще многочисленнѣйшій неимущихъ крестьянъ, такъ называемыхъ Häusler и даже совсѣмъ бездомныхъ людей.—Но нигдѣ земледѣльческій классъ не былъ такъ склоненъ къ революціонерному движенію, какъ въ Богеміи. Въ Богеміи до 1848-го года феодализмъ существовалъ еще во всей полнотѣ, со всѣми его тягостями и притѣсненьями: Господскіе суды, феодальные налоги и сборы, десятины и другія духовныя повинности подавляли собственность имущихъ крестьянъ. Классъ же неимущихъ былъ еще многочисленнѣе и положенье его тягостнѣе, чѣмъ въ самой Германіи. Къ тому же въ Богеміи есть много фабрикъ, а въ слѣдствіе того и много фабричныхъ работниковъ; а фабричные работники какъ бы судьбою призваны быть рекрутами демократической пропаганды.

Въ 1848-омъ году всѣ притѣсненья, предметы вѣчныхъ неудовольствій и жалобъ крестьянъ, всѣ старые налоги, многосложныя обязательства и работы остановились; остановились вмѣстѣ съ дряхлою жизнью политическаго организма Австрійской Монархіи. Но только остановились, не уничтожились. За притѣсненьемъ послѣдовала анархія. Правительство испуганное, совсѣмъ потерявшееся, хватавшееся рѣшительно за все, чтобъ спасти себя отъ совершеннаго потопленья, вспомнило свою демократическую уловку 1846 года въ Галиціи и объявило вдругъ, безъ всякихъ предварительныхъ мѣръ, неограниченную и безусловную свободу собственности и крестьянъ. Агенты его покрыли Богемскую землю, проповѣдуя благость Правительства. Но въ Богеміи отношенья совсѣмъ не тѣ, какъ въ Галиціи. Въ Богеміи притѣсняющій и ненавидимый классъ богатыхъ собственниковъ, дворянъ, аристократіи, состоитъ не изъ Польскихъ заговорщиковъ, а изъ Нѣмцовъ, душою и тѣломъ преданныхъ Австрійской династіи, преданныхъ еще болѣе Австрійскому старому, столь для нихъ выгодному порядку вѣщей. Народъ пересталъ ходить на барскую работу, не захотѣлъ также и платить другихъ податей, кромѣ государственныхъ, да и тѣ платилъ скрѣпя сердце, совсѣмъ не охотно. Классъ собственниковъ, дворяне, аристократія, однимъ словомъ все, что составляетъ собственно Австрійскую партію въ Богеміи, обнищало, обезсилило; и при всемъ томъ Правительство не пріобрѣло ничего, ибо народъ, всегда охотно слѣдовавшій ученью Чешскихъ патріотовъ, не возымѣлъ къ нему за великій подарокъ свободы, сдѣланный не во время, ни особенной любви, ни благодарности. Напротивъ, не довѣрялъ Правительству, слыша,

что оно находилось подъ вліяньемъ Аристократіи, и опасаясь безпрестанно, чтобъ оно не вздумало возвратить его вновь къ старому подданству. Наконецъ, необыкновѣнные рекрутскіе наборы, повторенные нѣсколько разъ въ продолженьи одного года пробудили въ богемскомъ народѣ всеобщій ропотъ и совершенное неудовольствіе. При таковомъ расположеньи легко было подвигнуть его къ возстанью.

Я желалъ въ Богеміи революціи рѣшительной, радикальной, однимъ словомъ такой, которая, еслибъ она и была побѣждена въ послѣдствіи, однако успѣла бы все такъ переворотить и поставить въ верхъ дномъ, что Австрійское Правительство послѣ побѣды не нашло бы ни одной вѣщи на своемъ старомъ мѣстѣ. Пользуясь тѣмъ благопріятнымъ обстоятельствомъ, что все дворянство въ Богеміи да и вообще весь классъ богатыхъ собственниковъ состоитъ исключительно изъ Нѣмцовъ, я хотѣлъ изгнать всѣхъ дворянъ, все враждебно расположенное духовенство и, конфисковавъ безъ разбора всѣ господскія имѣнья, отчасти раздѣлить ихъ между не имущими крестьянами, для поощренья сихъ къ революціи, отчасти же превратить ихъ въ источникъ для чрезвычайныхъ революціонерныхъ доходовъ. Хотѣлъ разрушить всѣ замки, сжечь въ цѣлой Богеміи рѣшительно всѣ процедуры, всѣ административныя, равно какъ и судебныя, какъ правительственныя, такъ господскіе бумаги и документы, и объявить всѣ гипотеки, а также и всѣ другіе долги, не превышающіе извѣстную сумму, напр. 1000 или 2000 Gulden, заплаченными. Однимъ словомъ революція, замышляемая мною, была ужасна, безпримѣрна, хоть и обращена болѣе противъ вѣщей, чѣмъ противъ людей. Она бы въ самомъ дѣлѣ все такъ переворотила, такъ бы въѣлась въ кровь и въ жизнь народа, что, даже побѣдивъ ее, Австрійское Правительство не было бы никогда въ силахъ ее искоренить, не знало бы что начинать, что дѣлать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатковъ стараго на вѣкъ разрушеннаго порядка и никогда бы не могло помириться съ Богемскимъ народомъ. Такая революція, ужъ не ограничивающаяся одною національностью, увлекла бы своимъ примѣромъ, своею червленно-огненною пропагандою не только Моравію и Австрійскую Шлезію, но также Прусскую Шлезію, да и вообще всѣ пограничныя Нѣмецкія земли, такъ что и Германская революція, бывшая до тѣхъ поръ революціей городовъ, мѣщанъ, фабричныхъ работниковъ, литераторовъ и адвокатовъ, сама бы превратилась въ общенародную.

Но симъ не ограничивались мои замыслы. Я хотѣлъ превратить всю Богемію въ революціонерный лагерь, создать въ ней силу, способную не только охранять революцію въ самомъ краю, но и дѣйствовать наступательно, внѣ Богеміи, возмущая на пути всѣ Славянскія племена, призывая всѣ народы къ бунту, разрушая все, что только носитъ на себѣ печать Австрійскаго существованья,—идти на помощь Мажіарамъ, Полякамъ, воевать однимъ словомъ противъ Васъ Самихъ, Государь!

Моравія, издавна связанная съ Богеміей своими историческими воспоминаньями, обычаями, языкомъ и никогда не престававшая смотрѣть на Прагу, какъ на свою столицу, а тогда находившаяся съ ней еще и въ особенной связи посредствомъ своихъ клубовъ, Моравія, думалъ я, необходимо послѣдуетъ за Богемскимъ движеньемъ. Съ нею вмѣстѣ увлекутся также и Словаки и Австрійская Шлезія. Такимъ образомъ революція обойметъ край пространный, богатый средствами, центромъ котораго будетъ Прага. Въ Прагѣ должно засѣдать революціонерное Правительство съ неограниченною диктаторскою властью. Изгнаны дворянство, все противуборствующее духовенство, уничтожена въ прахъ австрійская администрація; изгнаны всѣ чиновники и только въ Прагѣ сохранены нѣкоторые изъ главныхъ, изъ болѣе знающихъ для совѣта и какъ библіотека для статистическихъ справокъ. Уничтожены также всѣ клубы, журналы, всѣ проявленья болтливой анархіи, всѣ покорены одной диктаторской власти. Молодежь и всѣ способные люди, раздѣленные на категоріи, по характеру, способностямъ и направленью каждаго, были бы разосланы по цѣлому краю, для того, чтобъ дать ему провизорную революціонерную и воинскую организацію. Народныя массы должны бы были быть раздѣлены на двѣ части: одни, вооруженные, но вооруженные кое-какъ, оставались бы дома, для охраненья новаго порядка и были бы употреблены на партизанскую войну, еслибъ такая случилась. Молодые же люди, всѣ неимущіе, способные носить оружіе, фабричные работники и ремесленники безъ занятій, а также и большая часть образованной мѣщанской молодежи, составили бы регулярное войско, не Freischarren, но войско, которое должно бы было формировать съ помощью старыхъ Польскихъ офицеровъ, а также и посредствомъ отставныхъ Австрійскихъ солдатъ и унтеръ-офицеровъ, возвышенныхъ по способностямъ и по рвенью въ разные офицерскіе чины.—Издержки были бы огромныя, но я надѣялся, что они покроются отчасти конфискованными имѣніями, чрезвычайными налогами и ассигнаціями въ родѣ Коссутовскихъ. У меня былъ на то особенный болѣе или менѣе фантастическій финансовый проектъ, излагать который здѣсь было бы не у мѣста.

Таковъ былъ планъ, придуманный мною для революціи въ Богеміи. Я изложилъ его въ общихъ чертахъ, не входя въ дальнѣйшія подробности, ибо онъ не имѣлъ даже и начала осуществленья, никому не былъ извѣстенъ или извѣстенъ только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовалъ же только въ моей повинной головѣ, да и въ ней образовался не вдругъ, а постепенно, измѣняясь и пополняясь сообразно съ обстоятельствами. Теперь же, не останавливаясь на политической и нравственной, ни на политически-криминальной критикѣ сего плана, я долженъ Вамъ показать, Государь, какія у меня были средства для приведенья въ дѣйствіе такихъ огромныхъ замысловъ.

Во-первыхъ, я пріѣхалъ въ Лейпцигъ, не имѣя копѣйки денегъ, не

имѣлъ даже довольно для своего собственнаго бѣднаго пропитанья, и еслибъ мнѣ Рейхель не прислалъ вскорѣ малую сумму, то я не зналъ бы рѣшительно, чѣмъ и какъ жить, ибо для своихъ предпріятій я по совѣсти могъ просить и требовать денегъ у другихъ, но не для себя. Деньги мнѣ были необходимы: «Sans argent point de Suisses!» говоритъ старая французская пословица, а я долженъ былъ создать рѣшительно все: сношенья съ Богеміею, сношенья съ Мажіарами, долженъ былъ создать въ Прагѣ партію, соотвѣтствующую моимъ желаньямъ, на которую бы я могъ потомъ опереться для дальнѣйшаго дѣйствія. Я говорю «создать», ибо когда я пріѣхалъ въ Лейпцигъ не было еще даже и тѣни начала какого либо дѣйствія, все же существовало только въ моей мыслѣ. Отъ Дестера и Гекзамера я денегъ требовать не могъ; ихъ средства были весьма ограничены, не смотря на то, что они вдвоемъ составляли Центральный Демократическій Комитетъ для цѣлой Германіи; они собирали родъ налога со свѣхъ Нѣмецкихъ демократовъ, но онъ былъ недостаточенъ даже для того, чтобъ покрыть ихъ собственные политическіе расходы. Я надѣялся на Поляковъ, но Поляки на мой зовъ не пріѣхали. Мои новыя отношенья съ ними, а имянно съ Польскими демократами, начались въ Дрезденѣ, и я могу сказать по совѣсти, что до самаго Марта 1849 года, я никогда въ жизнѣ не имѣлъ политическихъ связей съ Поляками, да и тѣ, въ которыя я было вошелъ съ ними въ Мартѣ мѣсяцѣ, не успѣли развиться. И такъ денегъ у меня не было, а безъ денегъ могъ ли я что предпринять! Хотѣлъ я было ѣхать въ Парижъ отчасти за деньгами, отчасти чтобъ войти въ сношенья съ Французскою и Польскою демокраціями, а наконецъ и для того, чтобъ познакомиться тамъ съ Графомъ Телеки, бывшимъ посланникомъ, или, вѣрнѣе, агентомъ Коссута при Французскомъ Правительствѣ, и войти черезъ него въ сношенья съ самимъ Коссутомъ; но, обдумавъ, отказался отъ сей мысли, отказался отъ нея по слѣдующимъ причинамъ: мнѣ было извѣстно, имянно черезъ моего друга Рейхеля, чтовъ слѣдствіе клеветливой корреспонденціи въ «Rheinische Zeitung» Французскіе демократы также усумнились во мнѣ. Когда было напечатано мое «Воззванье къ Славянамъ», я послалъ одинъ экземпляръ Flocon и приложилъ длинное письмо. Въ этомъ письмѣ я ему изложилъ, сообразно моимъ тогдашнимъ понятьямъ, положенье Германіи и положенье Славянскаго вопроса; извѣщалъ его о моемъ уразумѣніи и полномъ согласьи съ Центральнымъ обществомъ Нѣмецкихъ демократовъ, о готовившейся второй революціи въ Германіи и о моихъ намѣреньяхъ касательно Славянъ и Богеміи въ особенности.

Уговаривалъ его прислать въ [1]) Лейпцигъ, куда сбирался ѣхать, повѣреннаго Французскаго демократа, для приведенья въ связь предпо-

---

[1]) Конецъ третьей тетради оригинала в пять писчих листов (или 20 страниц; л. л. 45—64).

лагаемаго Германо-Славянскаго движенья съ Французскимъ. Наконецъ упрекалъ его въ томъ, что онъ могъ повѣрить клеветливымъ слухамъ, и кончалъ письмо торжественнымъ объявленьемъ, что какъ единственный Русскій, въ лагерѣ Европейскихъ демократовъ, я долженъ хранить свою честь строже, чѣмъ всякій другой, и что если онъ мнѣ теперь не будетъ отвѣчать и не докажетъ положительнымъ дѣйствіемъ, что онъ безусловно вѣритъ въ мою честность, я почту себя обязаннымъ прервать съ нимъ всѣ отношенья. Flocon мнѣ не отвѣтилъ и никого не прислалъ, а вѣроятно для того, чтобъ показать мнѣ свою симпатію, перепечаталъ все «Воззванье» мое въ своемъ журналѣ; то же самое сдѣлали и Поляки въ своемъ журналѣ «Democrat Polski»; но я ни того, ни другого въ Лейпцигѣ не читалъ, принялъ же молчанье Flocon за оскорбительный знакъ недовѣрія; а потому и не могъ рѣшиться, даже и для цѣли, которую считалъ священною, искать съ нимъ, равно какъ и съ его партіею, новаго сближенья; не говоря ужъ о Польскихъ демократахъ, которые были, если и не первыми изобрѣтателями, то безъ сомнѣнья главными распространителями моего незаслуженнаго безчестья. При таковыхъ отношеньяхъ съ Французами и Поляками, я не обѣщалъ себѣ также и большой пользы отъ знакомства съ Графомъ Телеки, зная, что онъ находился въ тѣсной дружбѣ съ Польскою эмиграціею. Такимъ образомъ раздумавъ, я убѣдился, что поѣздка въ Парижъ будетъ только пустою тратою времяни; время же было драгоцѣнно, ибо до весны оставалось ужъ немного мѣсяцевъ. И такъ я долженъ былъ отказаться и на сей разъ отъ всякой надежды на связи и на средства широкія; долженъ былъ удовольствоваться для всѣхъ издержекъ добровольною помощью бѣдныхъ Лейпцигскихъ, а потомъ и Дрезденскихъ демократовъ; и не думаю, чтобъ въ продолженье всего времяни, отъ Генваря до Мая 1849 г., я издержалъ болѣе 400, много 500 талеровъ. Вотъ какими денежными средствами я хотѣлъ поднять всю Богемію!—Теперь же перейду къ своимъ связямъ и дѣйствіямъ.

Въ заграничныхъ показаньяхъ своихъ я нѣсколько разъ объявлялъ, что я никакимъ образомъ не учавствовалъ въ пріуготовительныхъ дѣйствіяхъ Нѣмецкихъ демократовъ для революціи въ Германіи вообще и Саксоніи въ особенности. И теперь долженъ по совѣсти и сообразно съ чистою истиною повторить то же самое. Я желалъ революціи въ Германіи, желалъ ее всѣмъ сердцемъ, желалъ какъ демократъ, желалъ и потому, что въ моихъ предположеньяхъ она должна была быть знакомъ и какъ бы точкою отправленья для революціи Богемской, но самъ рѣшительно никакимъ образомъ не способствовалъ къ ея успѣху, развѣ только тѣмъ, что ободрялъ и поощрялъ къ ней словами всѣхъ знакомыхъ мнѣ Нѣмецкихъ демократовъ; но не посѣщалъ ни ихъ клубы, ни ихъ совѣщанья, не спрашивалъ ни о чемъ, афектировалъ равнодушье и не хотѣлъ даже и слышать о ихъ приготовленьяхъ, хоть и слышалъ многое почти поневолѣ; самъ же былъ исключительно занятъ пропа-

гандою въ Богеміи.—Отъ Нѣмцовъ я ожидалъ и требовалъ только двухъ вѣщей:

Во-первыхъ, чтобъ они совершенно измѣнили свои отношенья и чувства къ Славянамъ: чтобъ публично и громко выразили свою симпатію къ Славянскимъ демократамъ и въ положительныхъ выраженьяхъ признали Славянскую независимость. Такая демонстрація мнѣ казалась необходимою; необходимою для того, чтобы связать самихъ Нѣмцовъ положительнымъ и громко выраженнымъ обязательствомъ; для того чтобъ подѣйствовать сильно на мнѣнье всѣхъ протчихъ Европейскихъ демократовъ и заставить ихъ смотрѣть на Славянское движенье глазами другими, болѣе симпатическими; необходимою наконецъ и для того, чтобъ побѣдить закоренѣлую ненависть Славянъ противъ Нѣмцовъ и ввести ихъ такимъ образомъ, какъ союзниковъ и друзей, въ общество Европейскихъ демократій. Я долженъ сказать, что Дестеръ и Гекзамеръ сдержали вполнѣ данное ими мнѣ слово, ибо въ короткое время и единственно только ихъ стараньемъ почти всѣ Нѣмецкіе демократическіе журналы, клубы, конгрессы заговорили вдругъ совершенно инымъ языкомъ и въ самыхъ рѣшительныхъ выраженьяхъ объ отношеньяхъ Германіи къ Славянамъ, признавая вполнѣ и безусловно право послѣднихъ на независимое существованье, призывая ихъ къ соединенью на обще-европейское революціонерное дѣло, обѣщая имъ союзъ и помощь противъ франкфуртскихъ притязаній, равно какъ и противъ всѣхъ другихъ Нѣмецкихъ реакціонерныхъ партій. Такая сильная, единодушная и совсѣмъ неожиданная демонстрація произвела и на другихъ желаемое дѣйствіе: не только Польскіе демократы въ Парижѣ, но и Французскіе демократы, Французскіе демократическіе журналы и даже Итальянскіе демократы въ Римѣ заговорили также о Славянахъ, какъ о возможныхъ и желанныхъ союзникахъ. Славяне же съ своей стороны, и имянно Чешскіе демократы, пораженные и обрадованные сею внѣзапною перемѣною, въ свою очередь также стали выражать въ Чешскихъ журналахъ свою симпатію къ Европейскимъ и даже къ Нѣмецкимъ и Мажіарскимъ демократамъ.—Такимъ образомъ первый шагъ къ сближенью былъ сдѣланъ.

Но это было не все; надо было побѣдить ненависть Богемскихъ Нѣмцовъ къ Чехамъ, не только смягчить ихъ враждебныя чувства, но уговорить ихъ соединиться съ Чехами на общее революціонерное дѣло. Задача не легкая, ибо ненависть бываетъ всегда тамъ сильнѣе и глубже, гдѣ она происходитъ между племенами, живущими близко и находящимися другъ съ другомъ въ безпрестанномъ соприкосновеньи. Къ тому же ненависть между Нѣмцами и Чехами въ Богеміи была ненависть свѣжая, основанная на животрепещущихъ воспоминаньяхъ, разъяренная и растравленная неусыпными стараньями Австрійскаго Правительства. Она пробудилась въ первый разъ въ началѣ революціи 1848-го года въ слѣдствіе двухъ противуположныхъ, другъ друга уничтожавшихъ направле-

ній обѣихъ національностей: Чехи, составляющіе двѣ трети Богемскаго народонаселенья, хотѣли, и съ полнымъ правомъ хотѣли, говорю я, чтобъ Богемія была исключительно страною Славянскою, въ совершенной независимости отъ Германіи, а потому и не хотѣли посылать депутатовъ въ Франкфутское собранье. Нѣмцы же, напротивъ, основываясь на томъ, что Богемія всегда принадлежала къ Германскому Союзу и съ давнихъ времянъ составляла интегральную часть древней Германской Имперіи, требовали ея окончательнаго соединенья, сліянья съ вновь возраждавшеюся Германіею. Чехи не хотѣли и слышать о Вѣнскомъ Министерствѣ; Нѣмцы, кромѣ Вѣнскихъ министровъ, не хотѣли признавать никакой другой власти. Такимъ образомъ произошла распря жестокая, поджигаемая съ одной стороны Инспрукомъ, съ другой же Вѣнскимъ Правительствомъ; такъ что когда, въ іюнѣ 1848-го года, Прага возстала, Нѣмцы поднялись со всѣхъ трехъ сторонъ Нѣмецкой Богеміи и ринулись вольными толпами (Freischaren) на помощь австрійскимъ войскамъ. Впротчемъ Генералъ Князь Виндишгрецъ принялъ ихъ довольно холодно и, поблагодаривъ, отпустилъ ихъ домой. Съ тѣхъ поръ вражда между Чехами и Нѣмцами никогда не переставала и ее побѣдить было не легко.—Гекзамеръ и Десторъ были мнѣ и въ этомъ отношеньи очень полѣзны, равно какъ и Саксонскіе демократы: они нѣсколько разъ посылали отъ своего имяни агентовъ въ Нѣмецкую часть Богеміи, на которую дѣйствовали постоянно и неусыпно также и посредствомъ демократовъ, обитавшихъ на всей Саксонской границѣ; такъ что къ Маю ужъ множество Нѣмцовъ въ Богеміи были обращены въ новую вѣру, и хоть я и не имѣлъ съ ними непосредственныхъ отношеній, знаю однако что многіе готовы были соединиться съ Чехами для общей революціи.— Симъ ограничились мои отношенья съ Нѣмецкими демократами, въ ихъ же собственныя дѣла, повторяю еще разъ, я не вмѣшивался.—Теперь обращусь къ Чехамъ.

Arnold пріѣхалъ одинъ на мой зовъ въ Лейпцигъ. Впротчемъ я былъ радъ и тому, бывъ ужъ наученъ довольствоваться немногимъ. Онъ пробылъ въ Лейпцигѣ всего только сутки, не смотря на все мое старанье удержать его долѣе. Въ такое короткое время я не могъ ни разспросить его хорошенько о Богеміи и Прагѣ, ни передать ему вполнѣ свои мысли. Къ тому же три четверти сего времяни по крайнѣй мѣрѣ были употреблены на безполѣзные переговоры съ Дестеромъ и Гекзамеромъ; они было-вздумали созвать въ Лейпцигѣ публично Славяно-Германскій Конгрессъ; даже въ это время Нѣмцы не могли еще совершенно излѣчиться отъ несчастной страсти къ Конгрессамъ; но я рѣшительно воспротивился сему нелѣпому проекту. На серьезные переговоры глазъ на глазъ съ Арнольдомъ мнѣ осталось всего четыре, много пять часовъ; я старался воспользоваться ими сколько было возможно для того, чтобъ уговорить Арнольда быть моимъ соучастникомъ, дѣйствовать со мной за одно, въ моемъ направленьи и духѣ.

Опираясь на всѣ вышеупомянутыя причины, доводы и аргументы, я старался убѣдить его въ необходимости ускорить революцію въ Богеміи; а для достиженія сей цѣли, зная, что онъ имѣлъ сильное вліянье на Чешскую молодежь, на Чешское бѣдное мѣщанство, особенно же на Чешскихъ мужиковъ, которыхъ онъ зналъ хорошо, бывъ долгое время управляющимъ имѣній Графа Рогана, и для которыхъ теперь писалъ почти исключительно въ своемъ демократическомъ, простонародномъ журналѣ,— я просилъ его употребить это вліянье на революціонерную пропаганду. Просилъ его организировать сначала въ Прагѣ, а потомъ въ цѣлой Богеміи тайное общество, планъ для котораго мною однимъ созданный, былъ у меня ужъ готовъ.—Планъ сей въ своихъ главныхъ чертахъ былъ слѣдующій:

Общество должно было состоять изъ трехъ отдѣльныхъ, другъ отъ друга не зависимыхъ и другъ о другѣ не знающихъ обществъ, подъ различными названьями: одно общество для мѣщанъ; другое для молодежи; третье для селъ. Каждое было подчинено строгой Іерархіи и безусловной дисциплинѣ, но каждое въ своихъ подробностяхъ и формахъ сообразовалось характеру и силѣ того класса, для котораго оно было назначено. Общества сіи должны были ограничиться малымъ числомъ людей, включивъ въ себя по возможности всѣхъ людей талантливыхъ, знающихъ, энергическихъ и вліятельныхъ, которые, повинуясь центральному направленію, въ свою очередь и какъ бы невидимо дѣйствовали бы на толпы.—Всѣ три общества были бы связаны между собою посредствомъ Центральнаго Комитета, который бы состоялъ изъ трехъ, много изъ пяти членовъ: я, Арнольдъ, остальныхъ слѣдовало бы выбрать.—Я надѣялся посредствомъ тайнаго общества ускорить революціонерныя приуготовленья въ Богеміи; надѣялся, что оныя будутъ сдѣланы во всѣхъ пунктахъ по одному плану. Ожидалъ, что мое тайное общество, которое не должно было расходиться послѣ революціи, но напротивъ усилиться, распространиться, пополняя себя всѣми новыми, живыми и дѣйствительно сильными элементами, обхватывая постепенно всѣ Славянскія Земли,— я ожидалъ, говорю я, что оно дастъ также и людей для различныхъ назначеній и мѣстъ въ революціонерной Іерархіи. Надѣялся наконецъ, что посредствомъ его я создамъ и укрѣплю свое вліянье въ Богеміи; ибо въ то же самое время, безъ вѣдома Арнольда, я поручилъ одному молодому человѣку, Нѣмцу изъ Вѣны (студенту Ottendorf, бѣжавшему послѣ въ Америку), организировать по тому же самому плану общество между Богемскими Нѣмцами, въ центральномъ комитетѣ котораго я не учавствовалъ бы явно сначала, но былъ бы его тайнымъ предводителемъ; такъ что если бы проектъ мой пришелъ къ исполненью, всѣ главныя нити движенья сосредоточились бы въ моихъ рукахъ, и я могъ бы быть увѣренъ, что замышляемая революція въ Богеміи не собьется съ пути, ей мною назначеннаго. На счетъ же революціонернаго Правительства, изъ сколь-

кихъ людей и въ какихъ формахъ оное должно будетъ состоять, я не имѣлъ еще опредѣленныхъ мыслей; хотѣлъ прежде познакомиться поближе съ самими людьми, равно какъ и съ обстоятельствами; не зналъ, приму ли я въ немъ явное участье, но что я буду учавствовать въ немъ и учавствовать непосредственно, сильно, въ этомъ я не сомнѣвался. Не самолюбье и не честолюбье, но убѣжденье, основанное на годовомъ опытѣ, убѣжденье, что никто между знакомыми мнѣ демократами не будетъ въ состояньи такъ обнять всѣ условья революціи и принять тѣхъ рѣшительныхъ, энергическихъ мѣръ, которыя я считалъ необходимыми для ея торжества, заставили меня наконецъ откинуть прежнюю скромность.

Наконецъ я хотѣлъ еще овладѣть, посредствомъ Арнольда и его приверженцевъ въ Прагѣ, Славянскою Лигою, Чешскимъ, или вѣрнѣе Славянскимъ патріотическимъ обществомъ, признаннымъ центромъ всѣхъ Славянскихъ обществъ и клубовъ во всей Австрійской Имперіи. Я вообще не придавалъ большой важности клубамъ, не любилъ и презиралъ ихъ даже, видя въ нихъ только сходки для глупаго хвастовства, для пустой и даже вредной болтовни. Но Славянская Лига была исключеньемъ изъ общаго правила; она была основана на практическихъ и живыхъ основаньяхъ умными и практическими людьми. Она была усиленнымъ политическимъ продолженьемъ организаціи и дѣйствія той могучей литературной пропаганды, которая передъ революціею 1848-го года пробудила и можно сказать создала новую Славянскую жизнь. Она и въ это время была живымъ центромъ всѣхъ политическихъ дѣйствій Австрійскихъ Славянъ и пустила отрасли, имѣла филіативныя общества не только въ Богеміи, но рѣшительно во всѣхъ Славянскихъ странахъ въ Австрійской Имперіи, исключая только Галиціи, и пользовалась такимъ всеобщимъ уваженьемъ, что всѣ Славянскіе предводители полагали за честь быть ея членами, и даже самъ Банъ Іелачичъ, приступая къ Вѣнѣ, почелъ необходимымъ написать къ ней письмо, въ которомъ, какъ бы извиняя свои поступки, увѣрялъ, что онъ идетъ противъ Вѣны, не потому что Вѣна совершила новую революцію и слѣдуетъ теперь демократическому направленью, но потому, что она есть центръ Германской національной партіи. Въ Славянской Лигѣ учавствовали безразлично Славянскіе патріоты всѣхъ партій; сначала преобладала въ ней партія Палацкаго, Словака Штура и Іелачича; но въ послѣдствіи, къ чему впротчемъ и моя брошюра: «Воззванье къ Славянамъ» нѣсколько способствовала, число демократовъ усилилось въ ней замѣтнымъ образомъ, и ужъ стали довольно часто слышаться въ ней крики: «Елей Коссутъ!» А подъ конецъ и вся Чешская Лига отклонилась рѣшительно отъ прежняго направленья и, громко объявивъ свои симпатіи къ Мажіарамъ, не захотѣла посылать болѣе денегъ ни Словакамъ, ни южнымъ Славянамъ, воевавшимъ противъ Коссута.—Овладѣть Славянскою Лигою было въ то время

довольно легко, и она могла сдѣлаться въ рукахъ Чешскихъ демократовъ довольно сильнымъ и дѣйствительнымъ средствомъ для достиженья моихъ цѣлей.

Арнольдъ былъ нѣсколько пораженъ и какъ бы смущенъ смѣлостью сихъ послѣднихъ. Онъ мнѣ обѣщалъ впротчемъ многое, но неясно, робко, неопредѣленно, жалуясь то на безденежье, то на свое плохое здоровье, такъ что когда онъ уѣхалъ изъ Лейпцига, во мнѣ осталось впечатлѣнье, что я почти ничего не достигъ свиданьемъ и переговорами съ нимъ. Прощаясь онъ обѣщалъ мнѣ однако писать изъ Праги и позвать меня, когда будетъ все хоть нѣсколько подготовлено для начала дальнѣйшихъ, рѣшительнѣйшихъ дѣйствій. Я долженъ былъ довольствоваться его неопредѣленными обѣщаньями, ибо не имѣлъ въ то время рѣшительно никакихъ другихъ средствъ, ни путей для пропаганды. Вспоминая теперь, какими бѣдными средствами я замышлялъ совершить революцію въ Богеміи, мнѣ становится смѣшно; я самъ не понимаю, какъ я могъ надѣяться на успѣхъ. Но тогда ничто не было въ состояньи остановить меня. Я разсуждалъ такимъ образомъ: революція необходима, слѣдовательно возможна. Я былъ самъ не свой, во мнѣ сидѣлъ бѣсъ разрушенья; воля или лучше сказать упорство мое росло вмѣстѣ съ трудностями, и безчисленныя препятствія не только что меня не пугали, но разжигали напротивъ мою революціонерную жажду, поджигали меня на лихорадочную неутомимую дѣятельность. — Я былъ обреченъ на погибель и предчувствовалъ это и съ радостью шелъ на нее. Жизнь мнѣ ужъ тогда надоѣла.

Arnold мнѣ не писалъ; я опять ничего не зналъ о Богеміи. Тогда воспользовавшись поѣздкою одного молодого человѣка въ Вѣну (Heimberger—сынъ Австрійскаго чиновника, бѣжалъ потомъ въ Америку), котораго отчасти также посвятилъ въ свои тайны, просилъ его на возвратномъ пути остановиться у Арнольда и писать мнѣ изъ Праги. Онъ тамъ остался совсѣмъ, впротчемъ по собственной волѣ, и сдѣлался моимъ постояннымъ корреспондентомъ. Такимъ образомъ я узналъ, что хоть Arnold по видимому и мало и плохо дѣйствовалъ, однако расположенье умовъ въ Прагѣ становилось день отъ дня живѣе, рѣшительнѣе, сообразнѣе моимъ желаньямъ. Тогда я рѣшился ѣхать самъ въ Прагу и уговорилъ также и братьевъ Страка возвратиться въ Богемію. — Это было въ серединѣ или въ концѣ Марта, а можетъ быть даже и въ началѣ Апрѣля, по новому стилю; я перезабылъ всѣ числа. Впротчемъ они подробно опредѣлены въ обвинительныхъ актахъ.

Въ это время въ первый разъ заговорили о вмѣшательствѣ Россіи въ Венгерскую войну и о вступленьи Русскихъ войскъ въ Венгрію, на помощь Австрійскимъ войскамъ. Извѣстье сіе побудило меня написать второе «Воззванье къ Славянамъ» (оно было перепечатано потомъ въ «Dresdener Zeitung» и находится въ числѣ обвинительныхъ актовъ), въ

которомъ, равно какъ и въ первомъ, но еще съ большею энергіею и языкомъ болѣе популярнымъ, я призывалъ Славянъ къ революціи и къ войнѣ противъ Австрійскихъ, а также и противъ Россійскихъ, хоть и Слявянскихъ войскъ, «so lange diese den verhängnissvollen Nahmen des Kaisers Nikolai in ihrem Munde führen»!—Воззванье сіе быяо немѣдленно переведено братьями Страка на Чешскій языкъ и напечатано въ Лейпцигѣ на обоихъ нарѣчьяхъ, въ большомъ количествѣ экземпляровъ. Я поручилъ Чешское изданье братьямъ Страка, а Нѣмецкое Саксонскимъ демократамъ для скорѣйшаго распространенья въ Богеміи.

Я поѣхалъ въ Прагу черезъ Дрезденъ. Въ Дрезденѣ остановился нѣсколько дней; познакомился съ нѣкоторыми изъ главныхъ предводителей Саксонской демократической партіи, впротчемъ безъ всякой положительной цѣли, не имѣя къ нимъ изъ Лейпцига ни рекомендательныхъ писемъ, ни порученій; познакомился съ ними могу сказать случайно въ демократической кнейпѣ, черезъ Доктора Wittig, знакомаго мнѣ еще со времянъ моего перваго пребыванья въ Дрезденѣ въ 1842 году. Между протчимъ познакомился также и съ демократическимъ Депутатомъ Röckel, съ которымъ позже вошелъ въ ближайшую связь и который игралъ въ послѣдствіи дѣятельную роль въ революціонерной Дрезденской, равно какъ и Пражской попыткѣ. Въ Дрезденѣ начались также мои новыя, уже положительныя отношенья съ Поляками. Это случилось слѣдующимъ образомъ:

Я встрѣтилъ совершенно случайно въ Дрезденѣ Галиційскаго Эмигранта и весьма дѣятельнаго члена демократическаго общества Крыжановскаго, съ которымъ я познакомился въ первый разъ въ Брюсселѣ въ 1847 году; но тогда я не имѣлъ съ нимъ еще никакихъ политическихъ отношеній. Былъ же онъ въ Дрезденѣ на дорогѣ въ Парижъ изъ Галиціи, изъ которой кажется былъ принужденъ бѣжать отъ преслѣдованій Австрійской полиціи. Мы встрѣтились съ нимъ какъ старыя знакомства, и, послѣ первыхъ привѣтствій, я сталъ дѣлать ему упреки за клевету, распространенную на мой счетъ Польскими демократами. Онъ мнѣ на это отвѣчалъ, что ни онъ, ни другъ его Гельтманъ, съ которымъ онъ жилъ вмѣстѣ въ Галиціи, никогда не вѣрили пустымъ слухамъ, вездѣ и всегда имъ противорѣчили и что напротивъ оба желали моего пріѣзда въ Галицію, гдѣ я могъ быть имъ полѣзенъ, и даже сбирались писать ко мнѣ, но не знали моего адреса. Въ чемъ и какъ я могъ быть полѣзенъ въ Галиціи,—онъ мнѣ не сказалъ. Такимъ образомъ послѣ довольно долгаго разговора объ общихъ предметахъ, найдя въ его мысляхъ много сходства съ моими и замѣтивъ въ немъ желанье со мной сблизиться, я открылъ ему свои намѣренья на счетъ Богемской революціи, не входя впротчемъ ни въ какія частности, сказалъ ему, что у меня есть связи въ Богеміи и что ѣду теперь въ Прагу для ускорѣнья революціонерныхъ пріуготовленій; что давно желалъ соединенья съ Поляками для того,

чтобъ дѣйствовать съ ними въ вмѣстѣ, но что до сихъ поръ всѣ попытки мои для сближенья съ ними не только что остались безъ всякаго успѣха, но навлекли еще на меня гнусную клевету. Онъ съ жаромъ вошелъ въ мои Славянскія мысли и просилъ у меня позволѣнья переговорить о томъ, какъ бы сказать официально, отъ моего имяни, съ Централизацiею.

Я былъ этому радъ и мы согласились съ нимъ въ слѣдующихъ пунктахъ: 1. Централизація пришлетъ двухъ повѣренныхъ, которые вмѣстѣ со мной въ Дрезденѣ будутъ заниматься приготовленьями къ Богемской революціи, и которые, когда революція начнется, войдутъ вмѣстѣ со мной въ центральный Общеславянскій комитетъ, въ которомъ будутъ учавствовать по возможности представители и протчихъ Славянскихъ племенъ. 2. Централизація возьметъ на себя доставку Польскихъ офицеровъ для революціи въ Богеміи, пришлетъ денегъ, и наконецъ уговоритъ также и Графа Телеки прислать со своей стороны, съ достаточными средствами, Мажіарскаго агента, для того чтобъ дѣйствовать съ нами на Мажіарскіе полки, стоявшіе тогда въ Богеміи, а также и для постоянныхъ отношеній съ Телеки и Коссутомъ. 3. Хотѣли еще установить въ Дрезденѣ Германо-Славянскій Комитетъ для проведенія въ связь богемскихъ революціонерныхъ приготовленій съ Саксонскими; но сей послѣдній проэктъ остался даже безъ начала исполненья, ибо особенныхъ Саксонскихъ пріуготовленій, какъ я скажу о томъ послѣ подробнѣе, не было. Да можно сказать, что и всѣ остальные пункты остались не осуществленными, исключая развѣ только пріѣзда Гельтмана и Крыжановскаго отъ имяни Централизаціи, съ пустыми руками.—Все, что я пріобрѣлъ на сей разъ черезъ встрѣчу съ Крыжановскимъ, это былъ Англійскій пашпортъ, съ которымъ я и поѣхалъ въ Прагу, простившись съ Крыжановскимъ, отправившимся въ то же самое время въ Парижъ.

Въ Прагѣ я былъ пораженъ самымъ непріятнымъ образомъ, не найдя въ ней ничего, рѣшительно ничего приготовленнымъ. Тайному обществу не было даже положено и начало, и никто казалось и не думалъ о близкой революціи. Я сталъ дѣлать Арнольду упреки, но онъ сложилъ всю вину на свое нездоровье. Въ послѣдствіи кажется онъ былъ гораздо дѣятельнѣе; я говорю «кажется», ибо я до самаго конца думалъ, что онъ не дѣлаетъ ничего и только отъ Австрійской слѣдственной комиссіи узналъ, если это справедливо, что онъ потомъ дѣйствовалъ ревностно и сильно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ осторожно, что даже самые близкіе люди не подозрѣвали его дѣятельности.—Кромѣ Арнольда, я имѣлъ одинъ разъ вечеромъ совѣщанье со многими Чешскими демократами, пришедшими ко мнѣ по приглашенью, но пришедшими къ моему великому неудовольствію въ числѣ, превышавшемъ мои ожиданья. Совѣщанье было шумное, безтолковое и оставило во мнѣ впечатлѣнье, что Пражскіе демократы великіе болтуны и что они болѣе склонны къ легкому и самолюбивому риторству, чѣмъ къ опаснымъ предпріятьямъ. Я же

кажется напугалъ ихъ рѣзкостью нѣкоторыхъ вырвавшихся у меня выраженій. Никто изъ нихъ, казалось мнѣ, не понималъ единственныхъ условій, при которыхъ была возможна Богемская революція. Равно какъ и Нѣмцы, отъ которыхъ впротчемъ Чехи вообще многому научились, не смотря на свою ненависть къ нимъ, всѣ были болѣе или менѣе заражены страстью къ клубамъ и вѣрою въ дѣйствительность пустой болтовни. Я убѣдился и въ томъ, что, оставивъ широкое поле для ихъ самолюбья и уступивъ имъ всѣ внѣшности власти, мнѣ будетъ не трудно овладѣть самою властью, когда революція начнется. Я видѣлъ потомъ нѣкоторыхъ глазъ на глазъ, и замѣтилъ, что параллельно съ моими замыслами шли въ то же самое время нѣсколько другихъ предпріятій, менѣе рѣшительныхъ, съ видами болѣе отдаленными, но клонящимися однако къ одной и той же революціонерной цѣли, я сталъ думать о средствахъ воспользоваться ими.—Для сего я долженъ бы былъ остаться въ Прагѣ, но это было рѣшительно невозможно; ибо, не смотря на все мое старанье сохранить мое присутствіе тайнымъ, Пражскіе демократы были такъ болтливы, что на другой же день не только вся демократическая партія, но всѣ Чешскіе либералы знали, что я находился въ Прагѣ; а такъ какъ Австрійское Правительство ужъ и тогда преслѣдовало меня за мое первое «Воззванье къ Славянамъ», то я былъ бы безъ всякаго сомнѣнья арестованъ, еслибъ не удалился во время.

За неимѣньемъ другихъ средствъ, я долженъ былъ положить всѣ свои надежды на братьевъ Страка, умы которыхъ я успѣлъ такъ сказать обработать и напитать своимъ духомъ въ продолженье болѣе чѣмъ двухмѣсячнаго ежедневнаго, ежечаснаго свиданья. Я далъ имъ полныя и подробныя инструкціи, касательно всѣхъ пріуготовленій къ революціи въ Прагѣ и въ Богеміи вообще; уполномочилъ ихъ дѣйствовать за меня и въ мое имя, и хоть и не знаю хорошо и въ подробности, что они потомъ дѣлали, однако долженъ объявить себя отвѣтственнымъ за ихъ малѣйшія дѣйствія, отвѣтственнымъ и повиннымъ въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ они сами.

Кратковремянное пребыванье въ Прагѣ было достаточно, чтобъ убѣдить меня, что я не ошибался, надѣясь найти въ Богеміи всѣ нужные элементы для успѣшной революціи. Богемія находилась тогда въ самомъ дѣлѣ въ полной анархіи. Мартовскія революціонерныя новопріобрѣтенья (Die Märzerrungenschaften, любимое выраженье того времяни), уже подавленныя въ протчихъ частяхъ Австрійской Имперіи, въ Богеміи оставались еще въ полномъ цвѣтѣ. Австрійское Правительство имѣло еще нужду въ Славянахъ, а потому и не хотѣло, боялось коснуться ихъ реакціонерными мѣрами. Въ слѣдствіе этого въ Прагѣ, равно какъ и въ цѣлой Богеміи, царствовала еще безграничная свобода клубовъ, народныхъ собраній, книгопечатанья; эта свобода простиралась такъ далеко, что Вѣнскіе студенты и другіе Вѣнскіе бѣглецы, которыхъ въ Вѣнѣ въ

то же самое время разстрѣливали, въ Прагѣ ходили по улицамъ явно, подъ своимъ имянемъ, безъ малѣйшаго опасенья. Весь народъ какъ въ городахъ такъ и въ селахъ былъ вооруженъ и вездѣ недоволенъ: недоволенъ и недовѣрчивъ, потому что чувствовалъ приближенье реакціи, боялся потери вновь пріобрѣтенныхъ правъ; въ селахъ боялся грозящей аристократіи и возстановленья прежняго подданства; недоволенъ наконецъ въ высшей степени въ слѣдствіе вновь возвѣщеннаго рекрутскаго набора,—и въ самомъ дѣлѣ былъ вездѣ готовъ къ возмущенью.—Къ тому же въ Богеміи находилось тогда очень мало войска; и то, что было, состояло большею частью изъ Мажіарскихъ полковъ, которые чувствовали въ себѣ неопреодолимую склонность къ бунту. Когда студенты встрѣчали Мажіарскихъ солдатъ на улицѣ и привѣтствовали ихъ крикомъ: «Елей Коссутъ!», солдаты отвѣчали тѣмъ же самымъ крикомъ, не обращая вниманье на присутствовавшихъ и слышавшихъ офицеровъ; когда Мажіарскихъ солдатъ посылали арестовать студента за брань или за драку съ полиціею, солдаты соединялись съ студентами и били вмѣстѣ съ ними полицейскихъ чиновниковъ. Однимъ словомъ, расположенье Мажіарскихъ полковъ было такое, что, лишь только началось революціонерное движенье въ Дрезденѣ, полуэскадронъ, стоявшій на границѣ, услыша о томъ, взбунтовался и прискакалъ въ Саксонію безъ всякаго зова.— Болѣе двухъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и Австрійское Правительство въ продолженье сего времяни употребило безъ сомнѣнья всѣ возможныя средства, для того чтобы искоренить революціонерный, Коссутовскій духъ изъ Мажіарскихъ полковъ; но духъ сей запустилъ такіе глубокіе корни въ сердцѣ каждаго Мажіара, еще болѣе простого, чѣмъ образованнаго, что я убѣжденъ, что если даже и теперь начнется война, крикъ «Елей Коссутъ» будетъ достаточенъ для того, чтобъ взбунтовать ихъ и перевести на сторону непріятеля.—Въ то же время это не подлежало ни малѣйшему сомнѣнью; я былъ твердо увѣренъ, что они въ первый день, въ первый часъ соединятся съ Богемскою революціею;—пріобрѣтенье важное, ибо такимъ образомъ было бы положено крѣпкое начало революціонерному войску въ Богеміи.—Наконецъ, для пополненья картины, надо еще прибавить, что Австрійскіе финансы находились въ то время въ самомъ плачевномъ состояньи: въ Богеміи ходили ужъ не Государственныя, а партикулярныя бумаги; каждый банкиръ, каждый купецъ имѣлъ свои ассигнаціи; были даже деревянныя и кожанныя монеты, какъ только бываетъ у народовъ, находящихся на самой низкой степени Цивилизаціи.

Революціонерныхъ элементовъ было поэтому много; слѣдовало только овладѣть ими, но на это у меня рѣшительно не доставало средствъ. Однако я все еще не отчаявался. Я поручилъ братьямъ Страка завести наскоро тайныя общества въ Прагѣ, не придерживаясь строго стараго плана, для исполненія котораго ужъ не доставало болѣе времяни, но

сосредоточивъ главное вниманье на Прагу, для того чтобъ приготовить ее какъ можно скорѣе къ революціонерному движенью; особенно просилъ ихъ завести связи съ работниками и составить исподволь изъ самыхъ вѣрныхъ людей силу, состоящую изъ 500, 400 или 300 людей, по возможности, родъ революціонернаго батальона, на который бы я могъ безусловно положиться и съ помощью котораго могъ бы овладѣть всѣми остальными Пражскими, менѣе или совсѣмъ не организированными элементами. Овладѣвъ же Прагою, я надѣялся овладѣть и всею Богеміею, ибо намѣревался принудить главныхъ предводителей Чешской демократіи соединиться со мной, принудить ихъ къ тому или убѣжденьемъ, или удовлетвореньемъ ихъ самолюбья, предоставивъ имъ по вышерѣченному всѣ почести и всѣ выгоды власти, а еслибъ ни то, ни другое на нихъ не подѣйствовало, такъ и силою. — Просилъ, наконецъ, ихъ искать знакомства со всѣми, однако не выказываться, не болтать, быть скромными, не оскорблять ничьего самолюбья, а наблюдать внимательно за всѣми движеньями, за всѣми параллельными предпріятьями, опасаясь, чтобъ насъ не предупредили,—и писать мнѣ обо всемъ со всевозможною подробностью въ Дрезденъ, откуда обѣщалъ прислать имъ денегъ, а когда прійдетъ время—пріѣхать и самъ съ Польскими офицерами.

Вскорѣ по моемъ возвращеньи въ Дрезденъ явились туда Крыжановскій и Гельтманъ, уже отъ имяни Демократической Централизаціи. Они мнѣ не привезли ничего; ни денегъ, ни польскихъ офицеровъ, ни Мажіарскаго агента, а только сердечное участье и множество комплиментовъ отъ Польскихъ, равно какъ и отъ Парижскихъ демократовъ. На счетъ денегъ узналъ я, что Централизація сама находилась въ неимовѣрной бѣдности, равно какъ и французскіе демократы, истощенные прошлогодними Іюньскими днями; что Польскіе офицеры будутъ и будутъ въ большомъ количествѣ, изъ Франціи, равно какъ изъ Познанскаго Герцогства, лишь только найдутся деньги, необходимыя для ихъ доставки; и, наконецъ, что Графъ Телеки богатъ средствами, но что онъ не рѣшается войти съ нами въ отношенья и располагать Мажіарскими деньгами для движенья Богемскаго, не получивъ на то позволенья отъ Коссута, которому онъ писалъ объ этомъ предметѣ и ждалъ отвѣта. Такимъ образомъ я не былъ въ состояньи сдержать ни одного изъ обѣщаній, данныхъ мною сначала братьямъ Страка, въ послѣдствіи же черезъ нихъ и Арнольду и другимъ Чешскимъ демократамъ, вошедшимъ въ сношенья съ ними по моемъ отъѣздѣ изъ Праги. Я долженъ былъ содержать братьевъ Страка въ Прагѣ, а для сего долженъ былъ какъ нищій просить милостыню у всѣхъ знакомыхъ и ни отъ одного не получилъ ни копѣйки, кромѣ вышеупомянутаго депутата Röckel, неосторожнаго, болтливаго, эксцентрическаго, но ревностнаго демократа, который, для того чтобъ доставить мнѣ хоть нѣкоторыя средства, продалъ даже свою мебель.

Я познакомился въ послѣдствіи съ покойникомъ Барономъ Baier, бывшимъ прежде офицеромъ въ Австрійской службѣ, потомъ же принявшимъ участье въ Венгерскомъ возстаньи; онъ командовалъ нѣкоторое время Мажіарскимъ отрядомъ, не помню въ какой Венгерской крѣпости, былъ тяжело раненъ и въ слѣдствіе этого, удалившись изъ Венгріи, сдѣлался не знаю ужъ какимъ образомъ агентомъ Графа Телеки въ Дрезденѣ, гдѣ кажется исключительно занимался вербовкою офицеровъ для Мажіарскаго войска. Онъ мнѣ показалъ письмо Графа Телеки, въ которомъ сей разспрашивалъ его о Богеміи; я воспользовался симъ случаемъ и уговорилъ его написать подъ моею диктовкою письмо къ Телеки, въ которомъ онъ, отъ моего имяни, извѣщалъ его о готовившейся Богемской революціи, представляя ему всѣ выгодные результаты, долженствовавшіе послѣдовать изъ оной для самихъ Мажіаръ и требуя наконецъ присылки повѣреннаго съ деньгами. Телеки отвѣчалъ, что онъ пріѣдетъ самъ; и кажется, что онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ въ Дрезденѣ, но поздно, ибо я ужъ сидѣлъ тогда въ заключеньи.—Симъ ограничились всѣ сношенья мои съ Мажіарами.

Между тѣмъ моя переписка съ братьями Страка продолжалась; они требовали денегъ; я посылалъ имъ сколько могъ, т.-е. очень не много; но утѣшалъ ихъ будущими надеждами, уговаривая ихъ крѣпиться, также какъ и я самъ крѣпился въ это время, и не оглядываясь, безъ остановки, на перекоръ всѣмъ трудностямъ и препятствіямъ, готовить революцію и позвать меня, когда приблизится время къ возстанью. Они были въ самомъ дѣлѣ очень дѣятельны, какъ я узналъ въ послѣдствіи отъ слѣдственной комиссіи; изъ писемъ же ихъ я не могъ узнать многаго, такъ были они неотчетливы и темны.—Я сказалъ теперь все касательно моихъ Богемскихъ предпріятій и дѣйствій, изъ которыхъ посылка Рёкеля въ Прагу была послѣднимъ.

Но скажу прежде, какія у меня были отношенья къ пріѣхавшимъ Полякамъ, а имянно къ Гельтману и Крыжановскому. Я могу съ полнымъ правомъ сказать, что не было рѣшительно никакихъ. Между нами даже и въ это время не было совершенной довѣренности, ни съ ихъ, ни съ моей стороны: они мнѣ никогда ни полъ слова не сказали о своихъ Польскихъ дѣлахъ, которыми, какъ мнѣ казалось, они занимались гораздо болѣе, чѣмъ Богемскими, что было впротчемъ не трудно, ибо послѣдними они совсѣмъ не занимались; платя имъ скрытностью за скрытность, я съ своей стороны удержалъ также многое отъ нихъ въ тайнѣ, показывалъ имъ только верхи своихъ собственныхъ замысловъ и не допускалъ ихъ входить въ непосредственныя отношенья съ Богеміею. Я одинъ переписывался съ Прагою, и все, что они знали, знали они единственно только черезъ меня; когда я получалъ неблагопріятныя извѣстья, я умалчивалъ ихъ; когда же извѣстья были благопріятныя, я старался увеличить оныя въ глазахъ ихъ; однимъ словомъ я ихъ дер-

жалъ нѣсколько въ сторонѣ отъ всѣхъ дѣйствительныхъ обстоятельствъ и приготовленій и считалъ себя въ правѣ дѣйствовать въ отношеньи къ нимъ такимъ образомъ, ибо видѣлъ ясно, что Централизація, не приславъ съ ними мнѣ никакой помощи, ни денегъ, ни офицеровъ, ни обѣщаннаго Мажіарскаго агента, прислала только ихъ двоихъ, и не для того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ соединиться со мной, но для того, чтобъ по возможности овладѣть Богемскимъ движеньемъ и употребить оное на достиженье своихъ собственныхъ, мнѣ неизвѣстныхъ цѣлей, сообразно своему исключительно Польскому направленью. Я видѣлся съ Гельтманомъ и Крыжановскимъ часто, почти всякій день, но болѣе какъ пріятель, чѣмъ какъ соумышленникъ; мы рѣдко говорили о Богемскихъ приготовленьяхъ, они даже рѣдко спрашивали меня объ нихъ или потому, что замѣтили мою неоткровенность, а можетъ быть и потому, что, переставъ ожидать отъ нихъ большихъ результатовъ, интересовались болѣе другими, мнѣ неизвѣстными дѣлами. Только въ одной мѣрѣ условились мы положительно, а имянно въ необходимости установить въ Прагѣ общеславянскій революціонерный комитетъ, когда революція начнется; все же остальное было предоставлено нами будущему вдохновенью и обстоятельствамъ. Они имѣли вѣроятно свои замыслы, я же, разсчитывая на преобладающее вліянье свое въ Прагѣ, имѣлъ намѣренье твердое устранить ихъ, лишь только они окажутся противниками.—Гельтманъ и Крыжановскій имѣли также и въ Дрезденѣ связи, совершенно независимыя отъ моихъ.—Но для окончанья моей исторіи обращусь теперь въ послѣдній разъ къ Нѣмцамъ:

Нѣмцы рѣшительно странный народъ, и судя по тому, что я видѣлъ, живя между ними, не думаю, чтобъ судьба имъ готовила долгое политическое существованье.—Когда я сказалъ, что въ послѣднее время Нѣмецкіе демократы стали централизироваться, то я хотѣлъ выразить симъ, что они наконецъ поняли необходимость центральнаго дѣйствія и центральной власти, много и часто объ нихъ говорили и дѣлали даже движенья, какъ будто бы централизировались, но дѣйствительной централизаціи, не смотря на существованье центральнаго демократическаго комитета, между ними не было. Избравъ сей комитетъ, они думали, что сдѣлали все, и не почли нужнымъ ему повиноваться.—Что дѣлаетъ Французскихъ демократовъ опасными и сильными, это чрезвычайный духъ дисциплины: Французы различныхъ характеровъ, состояній и положеній, различнѣйшихъ направленій, даже различныхъ партій умѣютъ соединяться для достиженья общей цѣли, и когда разъ соединились, тогда ужъ никакое самолюбье, ни честолюбье, рѣшительно ничто не въ состояньи разъединить ихъ, до тѣхъ поръ, пока предположенная цѣль не достигнута. Въ Нѣмцахъ, напротивъ, преобладаетъ анархія. Плодъ протестантизма и всей политической исторіи Германіи, анархія есть основная черта Нѣмецкаго

ума [1]), Нѣмецкаго характера и Нѣмецкой жизни: анархія между провинціями; анархія между городами и селами; анархія между жителями одного и того же мѣста, между посѣтителями одного и того же кружка; анархія наконецъ въ каждомъ Нѣмцѣ, взятомъ особенно, между его мыслью, сердцемъ и волею. «Jeder darf und soll seine Meinung haben!» Вотъ первоначальная заповѣдь Нѣмецкаго катехизиса, правило, которымъ руководствуется каждый нѣмецъ безъ исключенья [2]); а потому никакое политическое единство между ними не было, да и не будетъ возможнымъ.

Такъ, въ это самое время, когда необходимо было тѣснѣйшее соединенье всѣхъ демократовъ и всѣхъ либераловъ, для того чтобъ бороться съ нѣкоторымъ успѣхомъ противъ торжествовавшей реакціи, не только демократы съ либералами, и не только демократы цѣлой Германіи, но даже демократы одного и того же Нѣмецкаго Государства не могли, не умѣли да и не хотѣли соединиться. Jeder wollte seine Meinung haben. Всѣ были разъединены мелкимъ, еще болѣе самолюбивымъ, чѣмъ честолюбивымъ соперничествомъ [3]). Такъ ни Бреславль, ни Кёльнъ не хотѣли покориться Берлину, а въ то же время враждовали и между собою. Кёнигсбергъ былъ самъ по себѣ, Прусская Саксонія также. Не говорю о Бранденбургѣ и Помераніи, державшихся постоянно на сторонѣ Монархіи; еще менѣе говорю о Герцогствѣ Познанскомъ, въ которомъ преобладала въ то время глубочайшая ненависть безразлично ко всѣмъ носящимъ только Нѣмецкое имя. Вестфалія клонилась болѣе на сторону Кёльна. Ганноверъ составлялъ вмѣстѣ съ другими приморскими землями особенную группу, приходившую съ соприкосновенье съ протчею Германіею только черезъ Шлезвигъ-Голштейнскую войну, въ которой впротчемъ либералы принимали гораздо болѣе участья, чѣмъ демократы. Демократы Саксонскаго Королевства имѣли свой собственный центральный комитетъ, который былъ также комитетомъ и Тюрингскихъ демократовъ. Баварія, исключая Пфальца и сѣверной части Франконіи, не была почти тронута демократическою пропагандою. Остальная же часть южной Германіи: Баденъ, Вюртембергъ, равно какъ и оба Гессенъ и протчія небольшія Герцогства внѣшнимъ образомъ признавали центральный комитетъ, ибо учавствовали въ его избраньи на демократическомъ конгрессѣ въ Берлинѣ, но въ сущности ставили его ни во что; никогда не слушали его приказаній, не посылали ему даже денегъ, группировались же большею частью вокругъ демократовъ Франкфуртскаго конститутивнаго собранья, которое съ самаго начала соперничествовало и враждовало противъ сѣверныхъ демо-

---

[1]) Подчеркнуто Николаем. На полях пометка: „Разительная истина!“ *Прим. ред.*

[2]) Подчеркнуто Николаем. На полях пометка: „Неоспоримая истина!“ *Прим. ред.*

[3]) Подчеркнуто Николаем. На полях пометка: „Правда!“ *Прим. ред.*

кратовъ.—Такъ что въ дѣйствительности централизаціи не было, а центральный комитетъ Германскихъ демократовъ находился въ самомъ бѣдственномъ положеньи.

Онъ былъ бѣденъ, онъ былъ не могучъ, онъ состоялъ наконецъ изъ членовъ, неспособныхъ къ этому дѣлу. Трое были выбраны въ него: Дестеръ, Гекзамеръ, да еще Графъ Рейхенбахъ; но послѣдній удалился изъ него въ самомъ началѣ; дѣйствовали только Гекзамеръ и Дестеръ. Гекзамеръ человѣкъ молодой, честный, невинный, не глупый, но весьма ограниченный, не скоро понимающій, демократическій доктринеръ и утопистъ. Дестеръ,—я не скрою отъ Васъ, Государь, что говорю о нихъ такъ подробно, только потому, что знаю, что оба спаслися бѣгствомъ, — Дестеръ напротивъ человѣкъ живой, талантливый, скорорабочущій, скоро, но поверхностно-понимающій, нѣсколько плутъ и пройдоха, впротчемъ не своекорыстный, политическій интригантъ, принадлежитъ къ школѣ Кёльнскихъ, т.-е. болѣе или менѣе коммунистическихъ, демократовъ, остроуменъ, находчивъ, увертливъ, умѣетъ раздразнить Министра въ парламентскомъ преньи, однимъ словомъ способный къ партизанской политической войнѣ, и могъ бы быть Нѣмецкимъ Duvergier de Hauranne при Нѣмецкомъ демократическомъ Тьерсѣ [1]), еслибъ такой нашелся въ Германіи; но неимѣющій ни довольно обширнаго ума, ни довольно характера для того, чтобъ быть предводителемъ партіи.

Я постоянно остерегалъ себя отъ вмѣшательства въ ихъ дѣла; живя однако съ ними въ продолженьи двухъ мѣсяцевъ или немного менѣе въ одномъ домѣ, я зналъ многое и могу сказать съ увѣренностью и по совѣсти, что центральный комитетъ хлопоталъ много, но не сдѣлалъ рѣшительно ничего къ успѣху предполагаемой революціи, не смотря на то, что полагалъ на нее свои послѣднія надежды, ибо самъ Дестеръ мнѣ говорилъ, что это будетъ рѣшительная и послѣдняя попытка, и что если она не удастся, то должно будетъ отложить всѣ революціонерные замыслы на долгое, долгое время. И что жъ они дѣлали? Вмѣсто того, чтобъ, оставивъ въ сторонѣ всѣ другія дѣла, заняться исключительно приготовленьями къ ней, они употребляли большую часть времяни на предметы второстепенные, незначительные, на вопросы, которые привели ихъ даже въ безчисленныя противурѣчья со многими отдѣленьями демократической партіи. Они смѣялись надъ Саксонцами, которые твердо вѣрили въ незыблемость своей вновь ими созданной демократической конституціи; говорили имъ, что вторая революція была необходима даже для сохраненья тѣхъ еще ненарушенныхъ политическихъ правъ, остатковъ революціонерныхъ пріобрѣтеній 1848-го года, до которыхъ реакція тогда еще не дерзала коснуться, говорили, что безъ второй революціи все будетъ невѣрно, шатко; а сами дѣйствовали, какъ будто бы не сомнѣва-

---

[1]) Т.-е. Тьеръ. *Прим. ред.*

лись ни малѣйшимъ образомъ въ твердости политическаго фундамента, на которомъ они стояли: Дестеръ гораздо болѣе заботился о своемъ выборѣ во второе Прусское Законодательное собранье, чѣмъ о революціонерныхъ приготовленьяхъ; Гекзамеръ занимался пустою, безполѣзною, напыщенно-поздравительною публичною перепискою съ Французскими, Италіанскими и Польскими демократами; оба хлопотали объ основаньи въ Берлинѣ новаго демократическаго журнала, котораго хотѣли быть редакторами; собирали вездѣ подписку и перессорились по этому случаю со всѣми демократами; тогда какъ явно было, что если не будетъ второй революціи, то и существованье сего журнала въ Берлинѣ будетъ невозможно, и что если революція удастся, то и всѣ предыдущіе хлопоты, ссоры и подписки будутъ рѣшительно безполѣзны. Когда Арнольдъ пріѣхалъ въ Лейпцигъ, вмѣсто того чтобъ заняться единственною цѣлью его пріѣзда, т.-е. соединеньемъ движенья Богемскаго съ Германскимъ, или хоть вмѣсто того чтобы разспросить его о Богеміи, о которой они оба почти ничего не знали,—они ни о чемъ другомъ почти съ нимъ не говорили, какъ о несчастномъ журналѣ, да еще о вышеупомянутомъ Славянско-Германскомъ конгрессѣ. Другихъ переговоровъ, условій, общеположенныхъ мѣръ не было: «мы готовимъ къ веснѣ революцію, постарайтесь и вы приготовиться къ этому времяни»,—вотъ все, что Арнольдъ услышалъ отъ нихъ. По этому одному можно видѣть, каковы были ихъ приготовленья и мѣры для революціи въ самой Германіи.

Я не говорю, чтобъ они ужъ рѣшительно не сдѣлали ничего и совсѣмъ не думали о приготовленіяхъ къ революціи; говорю только, что дѣйствія ихъ были незначительны, недостаточны и ни малѣйшимъ образомъ не способствовали къ успѣху послѣдней; такъ знаю я, напр., что они организировали тайныя общества въ разныхъ пунктахъ Германіи, но общества сіи остались безъ всякаго вліянія въ Майскомъ всеобще-германскомъ повстаньи; не сомнѣваюсь также и въ томъ, что они имѣли связи съ нѣкоторыми изъ главныхъ предводителей демократической партіи, въ разныхъ частяхъ Германіи, хоть и не имѣли о томъ никакихъ положительныхъ свѣдѣній; но знаю положительно, что они были со многими въ ссорѣ: съ Бреславлемъ, съ центральнымъ комитетомъ Саксонскихъ демократовъ; и наконецъ и во Франкфуртѣ имѣли гораздо болѣе враговъ, чѣмъ друзей, такъ что наканунѣ Баденской революціи Южно-Германскіе демократы не только воспротивились ихъ вмѣшательству, но даже просили ихъ не пріѣзжать къ нимъ. Я узналъ объ этомъ обстоятельствѣ по особенному случаю, о которомъ скажу послѣ.

Могли бы спросить меня: Если центральный комитетъ былъ въ самомъ дѣлѣ до такой степени безсиленъ и бездѣятеленъ, какимъ образомъ могъ онъ произвесть въ цѣлой Германіи вышеупомянутую единодушную и сильную демонастрацью въ пользу Славянъ, и откуда взялись у него вдругъ энергія и дѣятельность и вліянье для той неусыпной пропаганды

между Богемскими Нѣмцами? На это я буду отвѣчать слѣдующее: ничего не было легче, какъ произвесть такую демонстрацію; для сего у нихъ были и достаточное вліяніе и всѣ нужныя средства; они имѣли корреспонденцію со всѣми демократическими журналами, а кромѣ сего имѣли адресы всѣхъ главныхъ предводителей комитетовъ и клубовъ, на которыхъ дѣйствовали часто помимо комитетовъ, посредствомъ знакомыхъ вліятельныхъ людей; вѣдь ничего нѣтъ легче, какъ уговорить всякаго Нѣмца по всякому дѣлу, до тѣхъ поръ пока онъ мнитъ себя самостоятельнымъ и не подозрѣваетъ, что его хотятъ подчинить какой-нибудь дисциплинѣ.—Я сочинялъ статьи, которыя Дестеръ и Гекзамеръ посылали въ журналы отъ своего имяни; ихъ же заставлялъ писать, въ моемъ присутствіи, почти подъ моею диктовкою, письма общія для всѣхъ клубовъ; и не давалъ имъ покоя, пока они не сдѣлали всего, что мнѣ казалось необходимымъ. Такимъ образомъ во многихъ журналахъ вдругъ появились статьи, симпатическія для Славянъ, а клубы, уже приготовленные письмами и объясненьями центральнаго комитета, послѣдовали ихъ примѣру, и стали сочинять громкіе адресы къ Славянамъ. Начавшись же разъ, движенье сіе продолжалось потомъ ужъ безъ всякаго внѣшняго побужденья. Пропаганда въ Богеміи осталась бы также безъ всякаго исполненья, еслибъ я не принуждалъ къ ней безпрестанно членовъ центральнаго комитета, но еще болѣе знакомыхъ мнѣ Лейпцигскихъ демократовъ, которые въ свою очередь дѣйствовали посредствомъ своихъ знакомыхъ, живущихъ на Богемской границѣ. И все это было сдѣлано безъ особенныхъ мѣръ, заговоровъ, условій и такъ просто, по доброму знакомству.

Еще разъ повторяю, общихъ разговоровъ о предстоящей революціи было въ цѣлой Германіи много, но общаго заговора въ ней, общей организаціи, плана центральнаго управленья и дѣйствія рѣшительно не было, не смотря на то, что былъ избранъ центральный комитетъ для центральнаго управленья и для центральнаго дѣйствія. Всеобщность Германскаго повстанья въ Маѣ 1849-го года была гораздо болѣе плодомъ единодушнаго дѣйствія Нѣмецкихъ Правительствъ, чѣмъ согласья Нѣмецкихъ демократовъ. Еще за полгода всѣ знали, что весною будетъ революція, потому что поняли наконецъ, что Правительства, начавшія разъ и съ успѣхомъ реакціонерное движенье, не остановятся на половинѣ дороги и не успокоятся до тѣхъ поръ, пока не возстановятъ совершенно стараго порядка, разрушеннаго революціею 1848-го года. Всѣ ожидали къ веснѣ еще рѣшительнѣйшихъ реакціонерныхъ мѣръ и всѣ готовились отвѣчать на нихъ революціонернымъ отпоромъ, и ждали неотвратимой, всѣми предвидѣнной коллизіи Франкфуртскаго парламента съ Властителями Германіи, какъ общаго знака для общаго повстанья. Другого единодушья кромѣ сего между Германскими демократами не было. Дѣйствія же центральнаго комитета ограничились тѣмъ, что онъ всѣхъ поощрялъ къ революціонер-

нымъ пріуготовленьямъ, но онъ не могъ и не умѣлъ сдѣлаться центромъ самихъ пріуготовленій; всѣ же части Германіи готовились сами собою, особенно, каждая сообразно своему характеру, обстоятельствамъ, положенью, независимо отъ центральнаго комитета, безъ всякой связи другъ съ другомъ; и еще разъ говорю, общность пріуготовленій состояла только въ томъ, что всѣ знали, что всѣ готовятся, знали не только демократы, но и противная партія, ибо всѣ готовились и организировали даже тайныя общества громко.

Всѣ готовились, но мало приготовили. Я впротчемъ не могу судить о дѣйствіяхъ южныхъ демократовъ, ибо, исключая одного раза, о которомъ упомяну въ послѣдствіи, я послѣ весны 1848 года не приходилъ съ ними въ соприкосновенье. Кажется, что въ Баденѣ существовало нѣчто въ родѣ дѣйствительной организаціи. Но могу судить о Саксонскихъ пріуготовленьяхъ, потому что видѣлъ ихъ въ близи, хоть никакимъ образомъ и не учавствовалъ въ нихъ. Я знаю, что у нихъ не было ни плана, ни организаціи, ни даже назначенныхъ предводителей для возмущенья. Все было предоставлено случаю. Это оказалось явно въ Дрезденской революціонной попыткѣ, которая была такъ мало предугадана самими руководителями демократической партіи, что они хотѣли было всѣ наканунѣ разъѣхаться; и никто ни въ Дрезденѣ, ни въ протчихъ городахъ Саксоніи не зналъ, что имянно теперь начинается всѣми давно пророчествованная революція; и когда она началась, никто не зналъ, ни что дѣлать, ни куда идти, всякій же слѣдовалъ своему собственному инстинкту; ибо ничего не было предуставленнаго. Трудно повѣрить, но въ самомъ дѣлѣ было такъ. Я теперь стараюсь собрать всѣ воспоминанья для того, чтобъ сказать что-нибудь положительное о пріуготовленьяхъ Саксонскихъ демократовъ, и не нахожу рѣшительно ничего, развѣ только что въ нѣкоторыхъ углахъ Саксонской земли существовали микроскопическія, игрушечныя тайныя общества, состоявшія изъ 5, 6, много изъ десяти людей, большею частью изъ работниковъ; или что въ нѣкоторыхъ городахъ, а имянно въ Дрезденѣ, въ Хемницѣ, а потомъ и въ Лейпцигѣ, были надѣланы жестяныя ручныя гранаты, дѣтская безвредная игрушка, на которую однако Саксонскіе демократы полагали большую надежду. Оружья и амуниціи готовить было не нужно, ибо вся Саксонія, равно какъ и вся Германія, была вооружена предшедшею революціею; а что необходимо было приготовить, это планъ для возмущенья, планъ для цѣлой Саксоніи, равно какъ и для каждаго города въ особенности; должно было избрать людей для предводительства, установить революціонерную Іерархію; условиться въ первыхъ шагахъ, въ первыхъ мѣрахъ предполагаемой революціи; должно было перенести революціонерную пропаганду изъ городовъ въ села, уговорить мужиковъ принять участье въ движеньи для того, чтобъ революція была общенародною, сильною, а не уединенно-городскою, легко-побѣждаемою.—Ничего подобнаго не было

даже и въ зачинѣ, всѣ пріуготовленья ограничились пустяками. Однимъ словомъ, Саксонскіе демократы сдѣлали довольно для того, чтобъ быть осужденными потомъ какъ Государственные преступники, но не сдѣлали ничего для успѣха самой революціи.—Можно бы было сказать то же самое и обо мнѣ, съ тою только разницею, что я былъ одинъ, а ихъ много; у нихъ были всѣ средства, а у меня никакихъ. Саксонская слѣдственная комиссія долго искала слѣдовъ заговора, плана, приготовленій къ бунту и тайныхъ связей Саксонскихъ демократовъ съ прочими Германскими демократами,—и, ничего не найдя, утѣшила наконецъ себя мыслью, что заговоръ существовалъ въ самомъ дѣлѣ и заговоръ страшный, съ связями широкими, съ планомъ глубокимъ, съ средствами безчисленными, но что бѣжавшій Röckel), ничтожнѣйшій между тремя весьма малоспособными членами саксонскаго демократическаго комитета, унесъ съ собою въ Лондонъ всѣ его тайны и нити. Я говорю: утѣшилъ себя сею мыслью, ибо стыдно должно было быть Нѣмецкимъ Правительствамъ, что они такъ долго могли трепетать передъ Нѣмецкими демократами. Впрочемъ такъ какъ все въ мірѣ относительно, то и Нѣмецкіе демократы могли быть страшны Нѣмецкимъ Правительствамъ.

Но пора мнѣ оставить сіи общія разсужденья на счетъ жалкой революціонерной дѣятельности Нѣмецкихъ демократовъ и, возвратившись къ себѣ самому, привести къ окончанью свою не менѣе жалкую исторію. Мнѣ остается теперь немного прибавить.

Я показалъ, чѣмъ ограничились мои отношенья съ Дестеромъ и Гекзамеромъ, равно какъ и съ Лейпцигскими демократами; изъяснилъ, почему я съ увѣренностью ожидалъ и почему желалъ Нѣмецкой революціи; прибавилъ, сообразно съ истиной, что самъ я ни малѣйшимъ образомъ не вмѣшивался въ Нѣмецкія дѣла. То же самое долженъ я сказать и о своемъ пребываньи въ Дрезденѣ, до самаго дня выбора Провизорнаго Правительства. Я жилъ въ Дрезденѣ не для Саксоніи и не для Германіи, единственно только для Богеміи, выбралъ же его своимъ мѣстопребываньемъ, какъ ближайшее мѣсто къ Прагѣ. Равно какъ и прежде, въ Лейпцигѣ, я не посѣщалъ здѣсь ни клубовъ, ни демократическихъ совѣщаній; скрывался напротивъ, не зная навѣрное, будетъ ли Дрезденская полиція терпѣть мое безпашпортное присутствіе въ Дрезденѣ или нѣтъ. Видѣлся съ немногими; зналъ многихъ демократовъ, но рѣдко встрѣчался съ ними; демократа и депутата Tschirner, который, по моему убѣжденью, былъ главный, если не единственный, хоть и весьма жалкій пріуготовитель Саксонской революціи, я видѣлъ два, много три раза, и не у него, также ни у себя на квартерѣ, а въ общей демократической кнейпѣ, былъ знакомъ съ нимъ очень поверхностно, даже разговаривалъ мало. Единственные два Нѣмца, съ которыми я имѣлъ въ Дрезденѣ положительныя дѣловыя отношенья, были Dr. Wittig, редакторъ Дрезденской демократической газеты, и вышеупомянутый демократическій депутатъ August Rö-

ckel. Первый былъ мнѣ полѣзенъ во многихъ отношеньяхъ; редакція его журнала служила мнѣ вмѣсто конторы для моихъ Пражскихъ сношеній; а самый журналъ, во всемъ, что касалось Славянскаго вопроса, находился подъ моимъ исключительнымъ вліяньемъ.—Еще ближе былъ я связанъ съ Демократомъ Röckel; сей много способствовалъ къ пропагандѣ въ Нѣмецкой Богеміи, посредствомъ своихъ связей съ пограничными Саксонскими Демократами; искалъ для меня денегъ, когда деньги становились мнѣ необходимы, и, какъ я ужъ выше замѣтилъ, продалъ даже свою мебель, для того чтобъ доставить мнѣ возможность содержать братьевъ Страка, т.-е. мою единственную надежду на революцію, въ Прагѣ. Я не скрывалъ отъ него своихъ предпріятій, равно какъ и онъ ничего не скрывалъ отъ меня; но я въ его Нѣмецкія дѣла и связи не вмѣшивался, а когда нужно было, пользовался симъ послѣднимъ для своихъ цѣлей.—Между Нѣмецкими демократами, съ которыми я былъ хорошо знакомъ, не имѣя съ ними никакихъ положительныхъ, дѣловыхъ отношеній, находился одинъ Dr. Erbe, альтенбургскій демократъ, депутатъ и изгнанникъ, потомъ же избранный не помню какимъ Саксонскимъ городомъ во Франкфуртскій парламентъ; я упоминаю объ немъ потому, что знакомство съ нимъ было поводомъ къ тому единственному и случайному соприкосновенью съ Баденскими демократами, о которыхъ я намекалъ выше. Кажется, что Erbe, пріѣхавъ во Франкфуртъ, принялъ дѣятельное участье въ Южно-Германскомъ движеньи, и мнѣ сказали, что онъ удалился потомъ въ Америку. Нѣсколько дней передъ Дрезденскимъ возмущеньемъ, явился ко мнѣ пріятель Erbe, также Франкфуртскій депутатъ, пріѣхавшій въ Дрезденъ вѣроятно и за другими, впротчемъ мнѣ неизвѣстными, дѣлами. Онъ просилъ меня, отъ имяни Erbe, а также и отъ имяни всѣхъ Баденскихъ демократовъ, которые мнѣ черезъ него кланялись, просилъ рекомендательнаго письма въ Парижъ къ Польской Централизаціи: они нуждались въ Польскихъ офицерахъ. Я свелъ его съ Гельтманомъ и Крыжановскимъ, и былъ такимъ образомъ косвенною причиною появленья Генерала Schreide и другихъ Поляковъ въ Баденскомъ Герцогствѣ.—Тутъ увидѣлъ я, какъ сильно было несогласье между Сѣверными и Южными демократами, и какъ ничтожно вліянье Центральнаго демократическаго комитета на послѣднихъ: Дестеръ, пріѣхавшій въ этотъ самый день въ Дрезденъ, встрѣтилъ у меня Франкфуртскаго пріятеля Erbe; разговаривали много о предстоявшемъ Баденскомъ и вообще южно-германскомъ движеньи; и Дестеръ сказалъ, что онъ желаетъ, чтобъ всѣ демократическіе члены насильственно распущенныхъ Нѣмецкихъ Парламентовъ собрались во Франкфуртѣ, для того чтобъ, вмѣстѣ съ Франкфуртскими демократами, составить новый демократическій Германскій парламентъ; пріятель Erbe отвѣтилъ на сіе, что Франкфуртскіе и вообще Южно-Германскіе демократы просятъ Господъ сѣверныхъ демократовъ не вмѣшиваться въ ихъ дѣла и не пріѣзжать къ нимъ, а сидѣть

дома, да заботиться объ ускореніи революціи на сѣверѣ. Изъ этого произошелъ споръ, потомъ ссора, которую здѣсь разсказывать было бы не у мѣста.

Съ приближеньемъ Мая революціонерныя предзнаменованья становились день ото дня яснѣе и значительнѣе въ цѣлой Германіи. Франкфуртскій парламентъ, склонившійся подъ конецъ своего существованья на сторону демократовъ, находился ужъ въ явной коллизіи съ Правительствами. Германская Конституція была наконецъ состряпана; нѣкоторыя Правительства признали ее, какъ, напр., Вюртембергское, но признали противъ воли, устрашенныя явною угрозой бунта. Прусскій Король отвергъ предложенную ему корону; Саксонское Правительство колебалось. Многіе надѣялись, что оно покорится необходимости и что дѣло обойдется безъ шума. Другіе предвидѣли коллизію; я принадлежалъ къ числу сихъ послѣднихъ и, бывъ убѣжденъ въ близости всеобщей Германской революціи, поощрялъ письмами братьевъ Страка усилить дѣятельность, ускорить пріуготовленья и приступить къ послѣднимъ, рѣшительнымъ мѣрамъ. Но я не могъ имъ послать ни денегъ, и ни какой другой помощи, кромѣ совѣтовъ и поощреній; посылалъ имъ по нѣскольку талеровъ, отнимая у себя послѣднія средства, такъ что въ это время я не издерживалъ на себя болѣе пяти, шести Silbergroschen въ день. Не было денегъ, не было и Польскихъ офицеровъ, не было и возможности пошевелиться; я ждалъ всякій день Графа Телеки, ждалъ также, что меня позовутъ скоро въ Прагу,—не зналъ, что дѣлать, какъ оборотиться; находился однимъ словомъ въ самомъ затруднительномъ положеніи.

Наконецъ Саксонскій демократическій Парламентъ былъ распущенъ. Это былъ первый шагъ къ реакціи въ Саксоніи; такъ что и тѣ, которые прежде сомнѣвались, стали теперь думать о возможности Саксонской революціи, которая однако казалась всѣмъ еще такъ отдаленна, что Röckel, опасавшійся преслѣдованій, рѣшился удалиться на нѣкоторое время изъ Дрездена. Я уговорилъ его ѣхать въ Прагу; далъ ему записку къ Арнольду и къ Сабинѣ, а также и къ братьямъ Страка, и поручилъ ему по возможности ускорить пріуготовленья къ Пражскому возстанью. Съ кѣмъ и какъ онъ тамъ дѣйствовалъ и вообще, что дѣлалось въ Прагѣ по его отъѣздѣ изъ Дрездена, было мнѣ до самаго конца неизвѣстно, и только отъ Австрійской Комиссіи узналъ я потомъ нѣкоторыя обстоятельства. Въ день его отъѣзда и еще въ его присутствіи, пришелъ ко мнѣ, убѣжденный на то моимъ пріятелемъ и сотрудникомъ Ottendorfer, Dr. Zimmer, бывшій членъ распущеннаго Австрійскаго Парламента, ревностный демократъ, одинъ изъ вліятельнѣйшихъ предводителей Нѣмецкой партіи въ Богеміи, а также бывшій передъ тѣмъ и однимъ изъ самыхъ отъявленныхъ враговъ Чешской Національности; послѣ долгаго и горячаго спора, мнѣ удалось перевести его на свою сторону; онъ простился со мной, обѣщая ѣхать немѣдленно въ Прагу и содѣйствовать тамъ къ соедине-

нью Нѣмцовъ съ Чехами для революціи. Всѣ сіи обстоятельства, открытыя также не мною, а самимъ докторомъ Zimmer, подробно изложены въ Австрійскихъ обвинительныхъ актахъ.—Посылка Рökеля и Доктора Zimmer были моими послѣдними дѣйствіями касательно Богеміи.

Я сказалъ все, Государь, и сколько ни думаю, не нахожу ни одного нѣсколько важнаго обстоятельства, которое было бы мною здѣсь пропущено. Теперь мнѣ остается только изъяснить Вамъ, какимъ образомъ, оставаясь доселѣ чуждымъ всѣмъ Нѣмецкимъ дѣламъ и ожидая быть призваннымъ каждый день въ Прагу, я могъ принять участье и еще такое дѣятельное въ Дрезденскомъ возмущеньи.

На другой же день по отъѣздѣ Рöкеля, т.-е. по распущеньи парламента, начались въ Дрезденѣ безпорядки; они продолжались нѣсколько дней, не принимая еще рѣшительнаго характера, но были ужъ такого рода, что не могли иначе кончиться какъ революціею или совершенною реакціею. Революціи я не боялся, но боялся реакціи, которая необходимо кончилась бы арестомъ всѣхъ безпашпортныхъ политическихъ бѣглецовъ и революціонерныхъ волонтеровъ, въ числѣ которыхъ я занималъ не послѣднее мѣсто. Я долго не зналъ, что дѣлать, долго ни на что не рѣшался: оставаться казалось опасно, но бѣжать было стыдно, рѣшительно невозможно. Я былъ главнымъ и единственнымъ Зачинщикомъ Пражскаго какъ Нѣмецкаго, такъ и Чешскаго заговора, послалъ братьевъ Страка въ Прагу и подвергъ въ оной многихъ явной опасности, поэтому не имѣлъ права самъ избѣгать опасности. Мнѣ оставалось еще одно средство: удалиться въ окрестность и ждать вблизи отъ Дрездена, чтобъ движенье приняло болѣе рѣшительный, революціонерный характеръ; но на это были нужны деньги, а у меня, я думаю, не было болѣе двухъ талеровъ въ карманѣ. Дрезденъ же былъ центръ моей корреспонденціи; я ждалъ Графа Телеки, ежеминутно могъ быть позванъ въ Прагу;—я рѣшился остаться и уговорилъ къ тому Крыжановскаго и Гельтмана, которые было ужъ совсѣмъ собрались уѣхать. — Оставшись же разъ, я ни по положенью, ни по характеру не могъ быть равнодушнымъ и бездѣйственнымъ зрителемъ Дрезденскихъ происшествій. Воздержался однако отъ всякаго участья до самаго дня выбора Провизорнаго Правительства.

Я не буду входить въ подробности Дрезденскаго возмущенья; оно Вамъ [1]), Государь, извѣстно и безъ сомнѣнья извѣстнѣе во всѣхъ объемахъ, чѣмъ мнѣ. Къ тому же всѣ обстоятельства, касающіяся также и до меня, подробно изочтены въ актахъ Саксонской слѣдственной коммиссіи.—По моему мнѣнью, движенье было сначала произведено спокойными гражданами, бюргерами, видѣвшими въ немъ сперва одну изъ тѣхъ

---

[1]) Конец четвертой тетради оригинала в шесть писчих листов (или 24 страницы; л. л. 65—68).

невинныхъ и законныхъ парадныхъ демонстрацій, которыя такъ ужъ въ это время вошли въ Германскіе нравы, что ни кого болѣе не пугали и не удивляли. Когда же они замѣтили, что движенье становится революціею, они отступили и уступили мѣсто демократамъ, говоря, что, когда они клялись: «mit Gut und Blut für die neu errungene Freiheit zu stehen!»—они разумѣли мирную, безкровную и безопасную протестацію, а не революцію.—Революція была сначала конституціонная, потомъ же сдѣлалась демократическою. Въ Провизорное Правительство были избраны два представителя Монархическо-Конституціонной Партіи: Haübner и Todt (послѣдній былъ нѣсколько дней передъ тѣмъ правительственнымъ Комиссаромъ, распустившимъ Парламентъ отъ имяни Короля),—и только одинъ демократъ: Tschirner. Я зналъ Тота еще со времяни моего самаго перваго пребыванья въ Дрезденѣ, потомъ видѣлъ его мимоходомъ во Франкфуртѣ, весною 1848-го года; въ Дрезденѣ же встрѣтилъ опять не прежде дня выбора его въ Провизорное Правительство. Депутата Haübner совсѣмъ не зналъ, а чѣмъ ограничивались до того мои отношенья, мое знакомство съ Чирнеромъ, я сказалъ уже выше.

Когда было собрано Провизорное Правительство, я сталъ надѣяться на успѣхъ революціи. И въ самомъ дѣлѣ, обстоятельства были въ тотъ день самыя благопріятныя: Народа много, а войскъ мало. Большая часть Саксонскаго и безъ того не весьма многочисленнаго войска воевало тогда за Германскую свободу и единство въ Schleswig-Holstein «Stammverwandt und Meerumschlungen»; въ Дрезденѣ оставалось, я думаю, не болѣе двухъ или трехъ баталіоновъ; прусскія войска еще не успѣли прійти на помощь, и ничего не было легче, какъ овладѣть всѣмъ Дрезденомъ. Овладѣвъ же имъ и опираясь на Саксонію, которая вся поднялась и поднялась довольно единодушно, только безъ всякаго порядка и плана, опираясь также на движенье протчей Германіи, можно бы было поспорить и съ Прусскими войсками, которыя, равно какъ и Саксонцы, не показали великой храбрости въ Дрезденѣ; они употребили цѣлыхъ пять дней на дѣло, которое войсками болѣе рѣшительными могло бы быть покончено въ одинъ день, а можетъ быть и скорѣе; ибо хоть въ Дрезденѣ было и много вооруженныхъ демократовъ, но всѣ были парализированы безпутнымъ революціонернымъ начальствомъ.

Въ день выбора Провизорного Правительства, дѣятельность моя ограничилась совѣтами. Это было кажется 4-го Мая по новому стилю. Саксонскія войска парламентировали; я совѣтовалъ Чирнеру не вдавать себя въ обманъ, ибо явно было, что Правительство хотѣло только выиграть время, ожидая Прусскую помощь. Совѣтовалъ Чирнеру прекратить пустые переговоры, не терять времяни, воспользоваться слабостью войскъ, для того чтобъ овладѣть цѣлымъ Дрезденомъ; предлагалъ ему даже собрать знакомыхъ мнѣ Поляковъ, которыхъ было тогда много въ

Дрезденѣ, и повести вмѣстѣ съ ними народъ, требовавшій оружья, на оружейную палату.—Цѣлый день былъ потерянъ въ переговорахъ, на другой день Чирнеръ вспомнилъ о моемъ совѣтѣ и о моемъ предложеньи: но обстоятельства ужъ перемѣнились; бюргеры разошлись по домамъ съ своими ружьями, народъ охладѣлъ; прибывшихъ Freischaaren было еще не много; и кажется появились ужъ первые Прусскіе баталіоны. Однако, уступивъ его просьбѣ, а еще болѣе его обѣщаньямъ, я отыскалъ Гельтмана и Крыжановскаго и не безъ труда уговорилъ ихъ принять вмѣстѣ со мною участье въ Дрезденской революціи, представляя имъ, какія выгодныя послѣдствія могли произойти изъ ея успѣшнаго хода для самой Богемской, ожидаемой нами, революціи; они согласились и привели съ собой въ ратушу, гдѣ засѣдало Провизорное Правительство, еще одного впротчемъ мнѣ незнакомаго Польскаго офицера. Мы заключили тогда съ Чирнеромъ родъ контракта: онъ объявилъ намъ, во-первыхъ, что если революція пойдетъ успѣшно, то онъ не удовлетворится однимъ признаньемъ Франкфуртскаго парламента и Франкфуртской Конституціи, а провозгласитъ демократическую республику; во-вторыхъ, обязался быть намъ помощникомъ и вѣрнымъ союзникомъ во всѣхъ нашихъ Славянскихъ предпріятьяхъ; обѣщалъ намъ денегъ, оружья, однимъ словомъ все, что будетъ потребно для Богемской революціи. Просилъ только не говорить ни о чемъ Тоту и Haübner, которыхъ называлъ предателями и реакціонерами.

Такимъ образомъ мы поселились: Гельтманъ, Крыжановскій, вышеупомянутый Польскій офицеръ и я, въ комнатѣ Провизорнаго Правительства за ширмами. Наше положенье было престранное: мы составляли родъ штаба возлѣ Провизорнаго Правительства, которое исполняло безпрекословно всѣ наши требованья; но независимо отъ насъ и независимо даже отъ самаго Провизорнаго Правительства дѣйствовалъ и командовалъ революціонернымъ ополченьемъ Оберъ-Лейтенантъ Heinse, занявшій мѣсто начальника національной гвардіи. Онъ смотрѣлъ на насъ съ явнымъ недоброжелательствомъ, почти съ ненавистью, и не только что не исполнилъ не одного изъ нашихъ требованій, переходившихъ ему въ видѣ повелѣній Провизорнаго Правительства, но дѣйствовалъ имъ на перекоръ, такъ что всѣ наши старанья были напрасны. Въ продолженье цѣлыхъ сутокъ, мы ничего болѣе не требовали какъ только пятисотъ, даже трехсотъ человѣкъ, которыхъ хотѣли сами вести на оружейную палату, и не могли даже собрать пятидесяти человѣкъ, не потому чтобы ихъ не было, но потому, что Heinse не допускалъ къ намъ никого, а разбрасывалъ всѣхъ по цѣлому Дрездену, лишь только прибывали свѣжія силы. Я былъ тогда увѣренъ и теперь еще убѣжденъ, что Heinse дѣйствовалъ какъ измѣнникъ и не понимаю, какъ онъ могъ быть осужденъ какъ Государственный преступникъ. Онъ способствовалъ къ побѣдѣ войскъ гораздо болѣе, чѣмъ сами войска, которыя, какъ я ужъ разъ сказалъ, дѣйствовали очень, очень робко.

На другой день, кажется 6-го Мая, мои Поляки да и Чирнеръ съ ними исчезли. Это случилось такимъ образомъ:

Haübner,—я не могу вспомнить объ этомъ человѣкѣ безъ особенной грусти! Я его прежде не зналъ, но успѣлъ узнать въ продолженьи сихъ немногихъ дней; въ подобныхъ обстоятельствахъ люди скоро узнаютъ другъ друга. Я рѣдко зналъ человѣка чище, благороднѣе, честнѣе его; онъ ни природою, ни направленьемъ, ни понятьями своими не былъ призванъ къ революціонерной дѣятельности; былъ нрава мирнаго, кроткаго; только что женился и былъ страстно влюбленъ въ свою жену и чувствовалъ въ себѣ гораздо болѣе склонность писать ей сентиментальные стихи, чѣмъ занимать мѣсто въ революціонерномъ Правительствѣ, въ которое онъ, равно какъ и Todt, попалъ какъ куръ во щи. Попалъ же онъ въ него виною своихъ конституціонныхъ пріятелей, которые, пользуясь его самоотверженьемъ и желая парализировать демократическіе замыслы Чирнера, избрали его. Онъ же видѣлъ въ сей революціи законную, святую войну за Германское единство, котораго былъ пламеннымъ и нѣсколько мечтательнымъ обожателемъ; думалъ, что не имѣетъ права отказаться отъ опаснаго поста и согласился. Согласившись же разъ, онъ захотѣлъ честно и до конца выдержать свою роль и принесъ въ самомъ дѣлѣ величайшую жертву тому, что онъ считалъ правымъ и истиннымъ.—Я не скажу ни слова о Тотѣ; онъ былъ съ самаго начала деморализированъ противурѣчьемъ между своимъ вчерашнимъ и сегодняшнимъ положеньемъ, и спасался бѣгствомъ нѣсколько разъ. Но долженъ сказать слово о Чирнерѣ. Чирнеръ былъ всѣми признанный глава демократической партіи въ Саксоніи; былъ зачинщикъ, пріуготовитель и предводитель революціи, и бѣжалъ при первой грозящей опасности, бѣжалъ испуганный еще къ тому невѣрнымъ, пустымъ слухомъ; однимъ словомъ показалъ себя передъ всѣми, друзьями и врагами, какъ трусъ и подлецъ. Онъ потомъ опять явился; но мнѣ было стыдно говорить даже съ нимъ, и я обращался съ тѣхъ поръ болѣе къ Haübner, котораго полюбилъ и сталъ почитать отъ всей души. Поляки также исчезли; они вѣроятно думали, что должны сохранить себя для Польскаго отечества. Съ тѣхъ поръ я не видался болѣе ни съ однимъ Полякомъ. Это было мое послѣднее прощанье съ Польскою Національностью.—Но я прервалъ свой разсказъ; и такъ, Haübner и я пошли на баррикады, отчасти чтобы ободрить дерущихся, отчасти же для того, чтобъ хоть нѣсколько узнать о положеньи дѣлъ, о которомъ въ полкахъ Провизорнаго Правительства никто не имѣлъ ни малѣйшаго извѣстья. Когда мы возвратились, намъ сказали, что Чирнеръ и Поляки, испуганные ложной тревогою, сочли за нужное удалиться и совѣтовали намъ сдѣлать то же самое. Haübner рѣшился остаться, я также; потомъ возвратился и Чирнеръ, потомъ и Тотъ; но послѣдній пробылъ не долго и опять скрылся.

Я остался не потому, чтобъ надѣялся на успѣхъ. Все было такъ испорчено Господами Чирнеръ и Heinse, что только чудо могло спасти

демократовъ не было возможности возстановить порядка; все было до такой степени перемѣшано, что никто не зналъ ни что дѣлать, ни куда, ни къ кому обратиться. Я ожидалъ пораженья, и остался отчасти потому, что я не могъ рѣшиться оставить бѣднаго Haübner, который сидѣлъ тутъ какъ агнецъ, приведенный на закланье; но еще болѣе потому, что какъ Русскій, болѣе всѣхъ другихъ подверженный подлымъ подозрѣньямъ и не разъ оклеветанный, я считалъ себя обязаннымъ, равно какъ и Haübner, выдержать до конца.

Я не могу, Государь, отдать Вамъ подробнаго отчета въ трехъ или четырехъ дняхъ, проведенныхъ мною въ Дрезденѣ послѣ бѣгства Поляковъ. Я хлопоталъ много, давалъ совѣты, давалъ приказанья, составлялъ одинъ почти все Провизорное Правительство, дѣлалъ однимъ словомъ все, что могъ, чтобъ спасти погубленную и видимо погибавшую революцію; не спалъ, не ѣлъ, не пилъ, даже не курилъ, сбился со всѣхъ силъ и не могъ отлучиться ни на минуту изъ комнаты Правительства, опасаясь, что Чирнеръ опять убѣжитъ и оставитъ моего Haübner одного. Собиралъ нѣсколько разъ начальниковъ баррикадъ, старался возстановить порядокъ, собрать силу для наступательныхъ дѣйствій; но Heinse разрушалъ всѣ мои мѣры въ зародышѣ, такъ что вся моя напряженная, лихорадочная дѣятельность была всуе. Нѣкоторые изъ коммунистическихъ предводителей баррикадъ вздумали было сжечь Дрезденъ и сожгли даже нѣсколько домовъ. Я никогда не давалъ къ тому приказаній; впрочемъ согласился бы и на то, еслибъ только думалъ, что пожарами можно было спасти Саксонскую революцію. Я никогда не могъ понять, чтобъ о домахъ и неодушевленныхъ вѣщахъ слѣдовало бы жалѣть болѣе, чѣмъ о людяхъ.—Саксонскіе равно какъ и Прусскіе солдаты тѣшились, стрѣляли въ цѣль на безвинныхъ женщинъ, выглядывавшихъ изъ оконъ, и никто тому не удивлялся; а когда демократы стали жечь дома для своей собственной обороны, всѣ закричали о варварствѣ; а надо сказать, что добрые, нравственные, образованные Нѣмецкіе солдаты показали въ Дрезденѣ несравненно болѣе варварства, чѣмъ демократы; я самъ былъ свидѣтелемъ того негодованья, съ которымъ всѣ демократы, простые люди, бросились на одного вздумавшаго было ругаться надъ ранеными Прусскими солдатами. Но горе было тому демократу, который попадался въ руки солдатъ! Господа офицеры сами рѣдко показывались, берегли себя съ величайшею нѣжностью, а солдатамъ приказывали не дѣлать плѣнныхъ; такъ что перебили, перекололи и перестрѣляли въ завоеванныхъ домахъ многихъ и не думавшихъ даже мѣшаться въ революцію; такъ былъ заколотъ вмѣстѣ съ своимъ камердинеромъ одинъ молодой Fürst, чуть ли еще не родственникъ одного изъ небольшихъ Германскихъ Потентатовъ, пріѣхавшій въ Дрезденъ для того, чтобы лѣчить свои глаза. Я узналъ сіи обстоятельства не отъ демократовъ, но изъ самаго вѣрнаго источника; а именно отъ унтеръ-офицеровъ, учавствовавшихъ дѣятельнымъ образомъ въ Дрезденскихъ событьяхъ, потомъ же приставленныхъ за мо-

имъ присмотромъ.—Я находился съ нѣкоторыми изъ нихъ въ большой пріязни и узналъ въ крѣпости Königstein отъ нихъ многое, что ни мало не доказываетъ ни человѣколюбья, ни храбрости, ни ума Господъ Саксонскихъ и Прусскихъ офицеровъ.—Но возвращусь къ своему разсказу.

Я пожаровъ не приказывалъ, но не позволялъ также, чтобъ, подъ предлогомъ угашенья пожаровъ, предали городъ войскамъ; когда же стало явно, что въ Дрезденѣ ужъ болѣе держаться нельзя, я предложилъ Провизорному Правительству взорвать себя вмѣстѣ съ ратушею на воздухъ; на это у меня было пороху довольно. Но они не захотѣли,—Чирнеръ опять бѣжалъ и съ тѣхъ поръ я болѣе не видѣлся съ нимъ. Haübner и я, разославъ повсюду приказанья ко всеобщему отступленью, выждали еще нѣкоторое время, когда приказанья наши были исполнены, потомъ удалились со всѣмъ ополченьемъ, взявъ съ собою весь порохъ, всю готовую амуницію и нашихъ раненыхъ. Я до сихъ поръ не понимаю, какъ намъ удалось, какъ насъ допустили совершить не бѣгство, но правильное, порядочное отступленье; въ то время какъ было такъ легко уничтожить насъ въ прахъ на чистомъ полѣ. Я могъ бы подумать, что человѣколюбье остановило начальниковъ войскъ, еслибъ, послѣ того что видѣлъ и слышалъ, передъ моимъ заключеньемъ и послѣ, могъ бы вѣрить въ ихъ человѣколюбье; и объясняю сіе обстоятельство опять тѣмъ же: что въ мірѣ все относительно и что Нѣмецкіе войска, равно какъ и Нѣмецкія Правительства, созданы для борьбы съ Нѣмецкими демократами.

Однако хоть ретирада наша была совершена довольно порядочно, войско наше было совсѣмъ деморализировано. Прійдя въ Freiburg и желая продолжать войну на границѣ Богеміи,—я все еще надѣялся на Богемское возмущенье—мы старались ободрить его, установить въ немъ новый порядокъ; но не было возможности; всѣ были утомлены, измучены, безъ всякой вѣры на успѣхъ; да и мы сами держались кое-какъ, послѣднимъ усильемъ, послѣднимъ болѣзненнымъ напряженьемъ.—Въ Хемницѣ, вмѣсто ожидаемой помощи, мы нашли предательство; реакціонерные граждане схватили насъ ночью въ кроватяхъ и повезли въ Альтенбургъ, для того чтобъ предать Прусскому войску. Саксонская слѣдственная комиссія удивлялась потомъ, какъ я далъ себя взять, какъ не сдѣлалъ попытки для своего освобожденья. И въ самомъ дѣлѣ, можно было вырваться изъ рукъ бюргеровъ; но я былъ изнеможенъ, истощенъ, не только тѣлесно, еще болѣе нравственно и былъ совершенно равнодушенъ къ тому, что со мною будетъ. Уничтожилъ только на дорогѣ свою карманную книгу, а самъ надѣялся, что, по примѣру Роберта Блюма въ Вѣнѣ, меня черезъ нѣсколько дней разстрѣляютъ, и боялся только одного: быть преданнымъ въ руки Русскаго Правительства. Надежда моя не сбылась; судьба судила мнѣ жребій другой. Такимъ образомъ окончилась жизнь моя, пустая, безполѣзная и преступная; и мнѣ остается только благодарить Бога, что Онъ остановилъ меня еще во время на широкой дорогѣ ко всѣмъ преступленьямъ.

Исповѣдь моя кончена, Государь! Она облегчила мою душу. Я старался сложить въ нее всѣ грѣхи и не позабыть ничего существеннаго; если жъ что позабылъ, такъ ненарочно. Все же, что въ показаньяхъ, обвиненьяхъ, доносахъ противъ меня будетъ противно мною здѣсь сказанному, рѣшительно ложно, или ошибочно, или клеветливо.

Теперь же обращаюсь опять къ своему Государю и, припадая къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества, молю Васъ:

Государь! я преступникъ великій и не заслуживающій помилованья! Я это знаю, и еслибъ мнѣ была суждена смертная казнь, я принялъ бы ее какъ наказанье достойное, принялъ бы почти съ радостью: она избавила бы меня отъ существованья несноснаго и нестерпимаго. Но Графъ Орловъ сказалъ мнѣ отъ имяни Вашего Императорскаго Величества, что смертная казнь не существуетъ въ Россіи. Молю же Васъ, Государь! если по законамъ возможно и если просьба преступника можетъ тронуть сердце Вашего Императорскаго Величества, Государь, не велите мнѣ гнить въ вѣчномъ крѣпостномъ заключеньи! Не наказывайте меня за Нѣмецкіе грѣхи Нѣмецкимъ наказаньемъ. Пусть каторжная работа самая тяжкая будетъ моимъ жребіемъ, я приму ее съ благодарностью, какъ милость; чѣмъ тяжелѣе работа, тѣмъ легче я въ ней позабудусь!—Въ уединенномъ же заключеньи все помнишь и помнишь безъ пользы; и мысль и память становятся невыразимымъ мученьемъ и живетъ долго, живетъ противъ воли и никогда не умирая, всякій день умираетъ въ бездѣйствіи и въ тоскѣ.—Нигдѣ не было мнѣ такъ хорошо, ни въ крѣпости Königstein, ни въ Австріи, какъ здѣсь въ Петропавловской крѣпости, и дай Богъ всякому свободному человѣку найти такого добраго, такого человѣколюбиваго начальника, какого я нашелъ здѣсь къ своему величайшему счастью! и не смотря на то, еслибъ мнѣ дали выбрать, мнѣ кажется, что я вѣчному заключенью въ крѣпости предпочелъ бы не только смерть, но даже тѣлесное наказанье.

Другая же просьба, Государь! позвольте мнѣ одинъ и въ послѣдній разъ увидѣться и проститься съ Семействомъ, если не со всѣмъ, то по крайнѣй мѣрѣ съ старымъ отцомъ, съ матерью и съ одною любимою сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она?

Окажите мнѣ сіи двѣ величайшія милости, Всемилостивѣйшій Государь! и я благословлю Провидѣнье, освободившее меня изъ рукъ Нѣмцовъ, для того чтобы предать меня въ Отеческія руки Вашего Императорскаго Величества[1]).

Потерявъ право называть себя вѣрноподданнымъ Вашего Императорскаго Величества, подписываюсь отъ искренняго сердца

Кающійся Грѣшникъ

Михаилъ Бакунинъ.[2])

---

[1]) Внизу пометка Николая: „На свиданіе съ отцомъ и сестрой согласенъ въ присутствіи Г. Набокова". *Прим. ред.*

[2]) Конец пятой и последней тетради оригинала в два писчих листа (стр. 89—96).

«Другого для него исхода не вижу какъ въ ссылку въ Сибирь на поселеніе».

Собственною его величества рукою написано карандашемъ: «Другого для него исхода не вижу какъ въ ссылку въ Сибирь на поселеніе».

19 февраля. Кн. Долгоруковъ.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

Многія милости, оказанныя мнѣ незабвеннымъ и великодушнымъ РОДИТЕЛЕМЪ ВАШИМЪ и ВАШИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, ВАМЪ угодно нынѣ довершить новою милостью, мною не заслуженною, но принимаемою съ глубокою благодарностью: позволеніемъ писать къ ВАМЪ. Но о чемъ можетъ преступникъ писать къ своему ГОСУДАРЮ, если не просить о милосердіи?—И такъ, ГОСУДАРЬ, мнѣ дозволено прибѣгнуть къ ВАШЕМУ МИЛОСЕРДІЮ,—дозволено надѣяться. Предъ правосудіемъ, всякая надежда съ моей стороны была бы безуміемъ; но предъ МИЛОСЕРДІЕМЪ ВАШИМЪ, ГОСУДАРЬ, надежда есть ли безуміе? Измученное, слабое сердце готово вѣрить, что настоящая милость есть уже половина прощенія; и я долженъ призвать на помощь всю твердость духа, чтобы не увлечься обольстительною, но преждевременною и можетъ быть напрасною надеждою.

Что бы, впротчемъ, меня ни ожидало въ будущемъ, молю теперь о позволеніи излить предъ ВАШИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ свое сердце,—чтобы я могъ говорить, передъ ВАМИ, ГОСУДАРЬ, такъ же откровенно, какъ говорилъ предъ ПОКОЙНЫМЪ РОДИТЕЛЕМЪ ВАШИМЪ, когда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было выслушать полную исповѣдь моей жизни и моихъ дѣйствій. Волю ПОКОЙНАГО ГОСУДАРЯ, переданную мнѣ Графомъ Орловымъ, чтобы я исповѣдался предъ НИМЪ, какъ духовный сынъ исповѣдуется предъ духовнымъ отцемъ своимъ, я исполнилъ, не покрививъ душою, и хотя исповѣдь моя, написанная, сколько я помню, въ чаду недавняго прошедшаго, не могла, по духу своему, заслужить одобренія ГОСУДАРЯ; но я никогда, никогда не имѣлъ причины раскаяваться въ своей искренности, а, напротивъ, ей одной, послѣ собственнаго великодушія ГОСУДАРЯ, могу приписать милостивое облегченіе моего заключенія.—И нынѣ, ГОСУДАРЬ, ни на чемъ другомъ не могу и не желаю основать надежду на возможность прощенія, какъ на полной, искренной откровенности съ моей стороны.

Привезенный изъ Австріи въ Россію, въ 1851 году, и забывъ благость отечественныхъ законовъ, я ожидалъ смерти,—понимая, что заслужилъ ее въ полнѣ. Ожиданіе это не сильно огорчало меня; я даже желалъ скорѣе разстаться съ жизнью, не представлявшею мнѣ ничего отраднаго въ будущемъ. Мысль, что я жизнью заплачу за свои ошибки,

мирила меня съ прошедшимъ; и ожидая смерти,—я почти считалъ себя правымъ.

Но великодушію ПОКОЙНАГО ГОСУДАРЯ угодно было продлить мою жизнь, и облегчить мою судьбу въ самомъ заключеніи. Это была великая милость, и однако же, милость ЦАРСКАЯ обратилась для меня въ самое тяжкое наказаніе.—Простившись съ жизнью, я долженъ былъ снова къ ней возвратиться,—чтобы испытать, во сколько разъ моральныя страданія сильнѣе физическихъ. Если бы заключеніе мое было отягчено строгостью, сопряжено съ бо́льшими лишеніями, я можетъ быть легче перенесъ бы его; но заключеніе, смягченное до крайнихъ предѣловъ возможности, оставляя мысли полную свободу, обратило ее въ собственное свое мученіе.—Связи семейныя, которыя я считалъ навѣкъ прерванными,—возобновленныя милостивымъ позволеніемъ видѣться съ семействомъ, возобновили во мнѣ и привязанность къ жизни:—ожесточенное сердце постепенно смягчалось подъ горячимъ дыханіемъ родственной любви; холодное равнодушіе, которое я принималъ сначала за спокойствіе, постепенно уступало мѣсто горячему участію къ судьбѣ давно потеряннаго изъ виду семейства,—и въ душѣ пробудилось,—вмѣстѣ съ сожалѣніемъ объ утраченномъ счастіи и мирной семейной жизни,—глубокая, невыразимо мучительная скорбь о невозвратно и, собственною виною, безумно разрушенной возможности, сдѣлаться когда-нибудь, наравнѣ съ пятью братьями, опорою своего роднаго дома, полѣзнымъ и дѣльнымъ слугою своего ГОСУДАРСТВА.—Завѣщаніе умирающаго отца, котораго я не переставалъ любить и уважать всѣмъ сердцемъ, даже и въ то время, когда поступалъ совершенно вопреки его наставленіямъ; его послѣднее благословленіе, переданное мнѣ матерью, подъ условіемъ чистосердечнаго раскаянія, встрѣтило во мнѣ уже давно тронутое и готовое сердце.

ГОСУДАРЬ!—Одинокое заключеніе есть самое ужасное наказаніе; безъ надежды, оно было бы хуже смерти: это смерть при жизни,—сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушеніе всѣхъ тѣлесныхъ, нравственныхъ и умственныхъ силъ человѣка; чувствуешь, какъ каждый день болѣе деревенѣешь, дряхлѣешь, глупѣешь, и сто разъ въ день призываешь смерть какъ спасеніе. Но это жестокое одиночество заключаетъ въ себѣ хоть одну несомнѣнную и великую пользу: оно ставитъ человѣка лицемъ къ лицу съ правдою и съ самимъ собою.—Въ шумѣ свѣта, въ чаду происшествій, легко поддаешься обаянію и призракамъ самолюбія;—но въ принужденномъ бездѣйствіи тюремнаго заключенія, въ гробовой тишинѣ безпрерывнаго одиночества, долго обманывать себя невозможно; если въ человѣкѣ есть хоть одна искра правды, то онъ непремѣнно увидитъ всю прошедшую жизнь свою въ ея настоящемъ значеніи и свѣтѣ; а когда эта жизнь была пуста, безполѣзна, вредна, какъ была моя прошедшая жизнь, тогда онъ самъ становится своимъ палачомъ; и

сколь бы тягостна ни была безпощадная бесѣда съ собою, о самомъ себѣ, сколь ни мучительны мысли, ею порождаемыя,—разъ начавши ее, ее уже прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилѣтнему опыту.

ГОСУДАРЬ! какимъ имянемъ назову свою прошедшую жизнь?—Растраченная въ химерическихъ и безплодныхъ стремленіяхъ, она кончилась преступленіемъ. Однако я не былъ ни своекорыстенъ, ни золъ; я горячо любилъ добро и правду, и для нихъ былъ готовъ пожертвовать собою; но ложныя начала, ложное положеніе, и грѣшное самолюбіе, вовлекли меня въ преступныя заблужденія; а разъ вступивши на ложный путь, я уже считалъ своимъ долгомъ и своею честью, продолжать его до нельзя. Онъ привелъ и ввергнулъ меня въ пропасть, изъ которой только всесильная и спасающая длань ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА меня извлечь можетъ.

Стою ли я такой милости? На это я могу сказать только одно:—въ продолженіе восьмилѣтняго заключенія, а особливо въ послѣднее время, я вынесъ такія муки, которыхъ прежде не предполагалъ и возможности. Не потеря и не лишеніе житейскихъ наслажденій терзала меня, но сознаніе, что я самъ обрекъ себя на ничтожество, что ничего не успѣлъ совершить въ жизни своей, кромѣ преступленія, не сумѣвъ даже принесть пользу семейству,—не говоря уже о великомъ отечествѣ, противъ котораго я дерзнулъ поднять крамольно-безсильную руку;—такъ что самая милость ЦАРСКАЯ, самая любовь и нѣжныя попеченія моихъ родныхъ обо мнѣ, ничѣмъ мною не заслуженныя, превращались для меня въ новое мученіе: я завидывалъ братьямъ, которые дѣломъ могли доказать свою любовь къ матери, могли служить ВАМЪ, ГОСУДАРЬ, и РОССІИ.—Но когда, по призыву ЦАРЯ, вся РУСЬ поднялась на соединенныхъ враговъ; когда вмѣстѣ съ другими ополчились и мои пять братьевъ, и, оставивъ старую мать и малолѣтнія семьи, понесли свои головы на защиту родины; тогда я проклялъ свои ошибки и заблужденія и преступленія, осудившія меня на постыдное, хоть и принужденное, бездѣйствіе въ то время, когда я могъ бы и долженъ бы былъ служить ЦАРЮ и ОТЕЧЕСТВУ; тогда положеніе мое стало для меня невыносимо, тоска овладѣла мною, и я молилъ одного: или свободы или смерти.

ГОСУДАРЬ! Что скажу еще? Если бы могъ я съизнова начать жизнь, то повелъ бы ее иначе, но увы! прошедшаго не воротишь! Если бы я могъ загладить свое прошедшее дѣломъ, то умолялъ бы дать мнѣ къ тому возможность: духъ мой не устрашился бы спасительныхъ тягостей очищающей службы: я радъ бы былъ омыть потомъ и кровью свои преступленія. Но мои физическія силы далеко не соотвѣтствуютъ силѣ и свѣжести моихъ чувствъ и моихъ желаній; болѣзнь сдѣлала меня никуда и ни на что не годнымъ.—Хотя я еще и не старъ годами, будучи 44 лѣтъ, но послѣдніе годы заключенія истощили весь жизненный запасъ мой, сокрушили во мнѣ остатокъ молодости и здоровья: я долженъ

считать себя старикомъ, и чувствую, что жить мнѣ остается не долго.— Я не жалѣю о жизни, которая должна бы была протечь безъ дѣятельности и безъ пользы; только одно желанiе еще живо во мнѣ: послѣднiй разъ вздохнуть на свободѣ,—взглянуть на свѣтлое небо, на свѣжiе луга,—увидѣть домъ отца моего, поклониться его гробу, и,—посвятивъ остатокъ дней сокрушающейся обо мнѣ матери, приготовиться достойнымъ образомъ къ смерти.

Предъ ВАМИ, ГОСУДАРЬ, мнѣ не стыдно признаться въ слабости; и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко въ темничномъ заключенiи пугаетъ меня,—пугаетъ гораздо болѣе, чѣмъ самая смерть;—и я изъ глубины души и сердца молю ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО избавить меня, если возможно, отъ этого послѣдняго самаго тяжкаго наказанiя.

Каковъ бы ни былъ приговоръ, меня ожидающiй, я безропотно, заранѣе ему покоряюсь, какъ вполнѣ справедливому, и осмѣливаюсь надѣяться, что въ сей послѣднiй разъ дозволено мнѣ будетъ излить передъ ВАМИ, ГОСУДАРЬ, чувство глубокой благодарности къ ВАШЕМУ НЕЗАБВЕННОМУ РОДИТЕЛЮ и къ ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ за всѣ мнѣ оказанныя милости.

14 февраля 1857-го года.

Молящiй преступникъ
Михаилъ Бакунинъ.

